

**Новые стихи
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ.
15 лет спустя —
ОСКАР РАБИН
в РОССИИ**





Альманах „СТРЕЛЕЦ“

С 1984 по 1989 год
выходил в Нью-Йорке.

С 1991 года
он публикуется в Москве.

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ,
ЭССЕ И ВОСПОМИНАНИЯ,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
и ПУБЛИЦИСТИКА –
вот с чем Вы встретитесь
на его страницах.**

Альманах можно приобрести
в магазине „Москва“
(Тверская 8),
в Московском Доме книги
(Новый Арбат 26)
и в магазине „Книжный мир“
на Мясницкой

УЧРЕДИТЕЛИ:

Центр современной русской культуры, издательство "Прогресс", ТОО "Дар"

Редакционный общественный совет:
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ,
ЛЕВ АННИНСКИЙ,
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА,
ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ,
БУЛАТ ОКУДЖАВА,
ЕВГЕНИЙ РЕЙН,
ГЕНРИХ САПГИР,
СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН.

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Главный художник
АРКАДИЙ ТРОЯНКЕР

Заместители
главного редактора
ГЕННАДИЙ КОМАРОВ
АЛЕКСЕЙ ФАЙНГАР

Ответственный секретарь
ИОСИФ ГАЛЬПЕРИН

Технический редактор
АННА ПРИГОДА

Адрес редакции:
123060, Москва,
ул. Маршала Вершинина, 3,
корп. 1, кв. 91

В США
24 Romaine Ave.
Jersey City N. J. 07306 USA

Во Франции
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron, France

Журнал набран и сверстан
в ТОО "Внешсигма"
Тираж отпечатан
с готовых диапозитивов
в типографии
А / О «Внешторгиздат»
Тираж 5000 экз.
Заказ № 9589

ПОЭЗИЯ

БУЛАТ ОКУДЖАВА **Новые стихи** 2

ГЕНРИХ САПГИР **Три стихотворения** 6

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ **"У БОГА ДНЕЙ НЕ РЕШЕТО..."** 9

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ **Литературная композиция** 12

КОНСТАНТИН КЕДРОВ **МОСКОВСКИЕ СТИХИ** 17

ПРОЗА

СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН **НОВЫЙ РУССКИЙ** Рассказ 3

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ **РУССКИЕ ПРИДУТ** Рассказ 7

МИХАИЛ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ **ЧЕРНАЯ КОШКА ПОД ДОЖДЕМ**
Рассказ 10

НАТАЛЬЯ СЕМЫНИНА **ЦАРЕУБИЙЦА** Рассказ 14

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ **ЗАЛОЖНИКИ** Рассказ 18

АРХИВ

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ **ГАРАЛЬД И КРИСТИНА** Роман 23

ЭССЕ

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ **ЮНОСТЬ БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА** 26

КРИТИКА

МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ **ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ**
О романе МАРКА ХАРИТОНОВА 32

ЛЕВ АННИНСКИЙ **КРУТОЙ УЗОР** 34

ГЕРМАН ГЕЦЕВИЧ **"ОДИНОКО МНЕ В ЛЕДЯНОЙ СТРАНЕ..."** 36

Е.Ш. **ЖЕЗЛ ААРОНА** 37

ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР **"ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ ДНОМ"**
(Глава из книги) (Окончание) 38

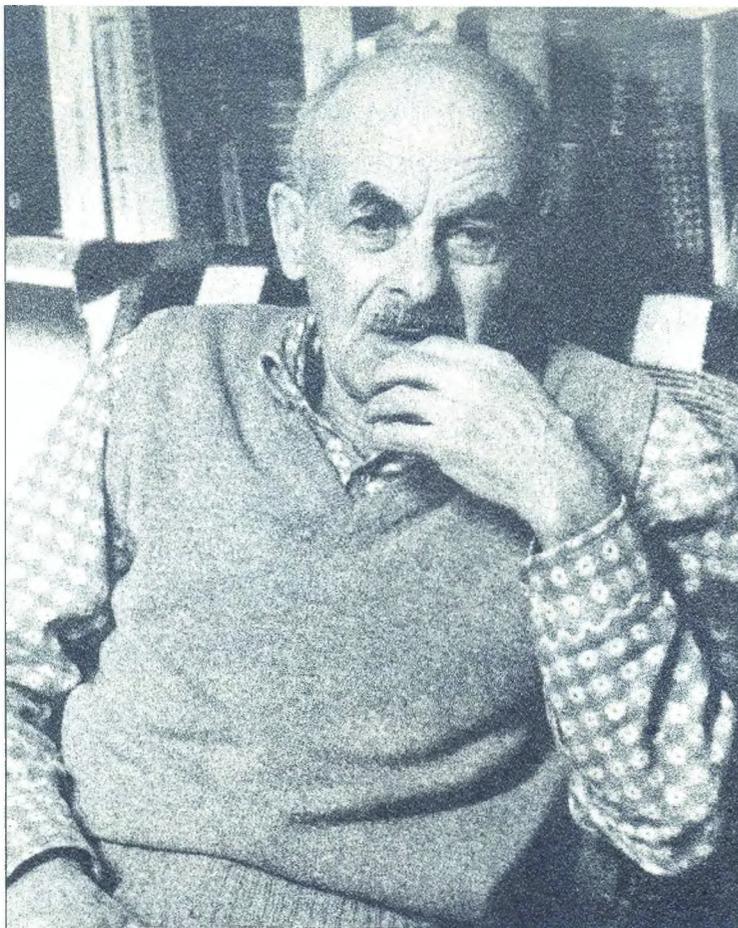
ИСКУССТВО

Н. АНДРЕЕВА **ТОРЖЕСТВО ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ** 41

ОЛЬГА КОЗЛОВА **ТРЕТЬЯКОВКА ДЕРЗАЕТ**
Несколько впечатлений от выставки Инфантэ
в Государственной Третьяковской галерее 42

ХРОНИКА

44



Буллат Окуджава

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ НЕМЕЦКОЙ ТЮРЬМЫ

Возле супермаркета тюрьма.
Приглядишься — и сойдешь с ума.
Там большие жулики сидят
и кино по телеку глядят.

Все у них для славного житья:
простыни отменного шитья,
сытный завтрак, с фруктами обед
и зубокабинет.

У меня Россия за спиной.
Я в ладу и с сыном и женой.
Я народом чтим, но почему
хочется в немецкую тюрьму?!

* * *

Вот Тюрингии столица.
Нам бы в ней повеселиться!
И проследовали.
В этом городе зеленом
Александр с Наполеоном
все беседовали.

Два тирана, два кумира,
разделившие полмира...

Им прислуживали.
А они про то и это,
то есть знание предмета
обнаруживали.

Вот и мы пиво гоняем,
но одно лишь вспоминаем:
годы проклятые.
не щадя ни слов, ни пыла,
лишь о том, что с нами было:
видно, чокнутые.

ПЕРЕД ВИТРИНОЙ

Вот дурацкий манекен, расточающий улыбки.
Я гляжу через стекло. Он глядит поверх меня.
У него большая жизнь, у меня — одни ошибки...
Дайте мне хоть передышку и крылатого коня!

У него такой успех! Мне подобное не снится.
Вокруг барышни стоят, и милиция свистит.
У него почти что все, он — почти что за граница,
а с меня ведь время спросит и, конечно, не простит.

Папа мой погиб в тюрьме. Мама долго просидела.
Я сражался на войне, потому что верил в сны.
Жизнь меня не берегла и шпыняла то и дело.
может, я бы стал поэтом, если б не было войны.

У меня медаль в столе. Я почти что был героем.
Манекены без наград, а одеты хоть куда.
Я солдатом спину гнул, а они не ходят строем,
улыбаются вальяжно, как большие господа.

Правда, я еще могу ничему не удивляться,
выпить кружечку в пивной, поскользнуться на бегу.
Манекены же должны днем и ночью улыбаться
и не могут удержаться. Никогда. А я могу.

Так чего же я стою перед этой витриной?
И открывши рот смотрю на дурацкий силуэт?
Впрочем, мне держать ответ и туда идти с повинной,
где кончается дорога... А с него и спросу нет.

ПЕСЕНКА ЛЬВА РАЗГОНА

Льва Разгона спросили, почему он так молодо
выглядит. "Я долго лежал в холодильнике", —
рассмеялся он, подразумевая лагерный срок.

Я долго лежал в холодильнике
обмыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой.

Преследовал север угрозой
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозой —
пусть маленький, но феномен.

По воле судьбы или случая
я тоже растаю по мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.

ПРОЗА



Сергей Юрьенен

РУССКИЙ КУРЬЕР

3

НОВЫЙ РУССКИЙ

РАССКАЗ

Заревом неона возникает станция обслуживания на Mittlerer Ring. Темную его страну когда-нибудь зальет таким же светом — морг, но красиво. Свет интенсивный, сине-голубой.

Иван наполняет бак и разномастные канистры. Проверив давление, подкачивает задние. В магазине при станции все, включая и "Московскую", в экспортном исполнении. Он выбирает по цене пластиковую банку масла, а на сдачу, деликатно показывая пальцем стриженной под ежик кассирше, покупает три пачки сигарет. Скандинавская табачная компания — читает он в

свете витрины. Несмотря на колхозное свое название, машина его выглядит вполне. Вариант не экспортный, но вид четкий, боевой. Этаким кулак в зеркалах их лимузинов, среди которых уже появились и открытые. Водители, в основном молодежь, вылезают с видеокассетами, исчезая за углом. В стене там крашеная металлическая дверь, за которой бьет по глазам глянец сотен коробок с картинками. Лабиринт из пяти закутков. В одном он обнаруживает ужасы типа топором по мозгам — только в кино они такие здесь и видят. За углом в тупичке секс. Спинами друг к другу, а

юными лицами к безобразию в особо извращенных формах — человек пять, включая взявшуюся за руки пару. Обтянутая джинсами блондинка, светлая до белизны, оглядывается, в глазах никакого смущения. Они выбирают серьезно, деловито. Изучают на обороте кадры из фильма, ставят коробку обратно. Глаза Ивана прыгают, он с трудом фокусирует взгляд. С фотообложек актрисы все улыбаются — глазами, если полон рот. Было время, и они с хорошим другом бутербродили девчат в круизе на черноморском лайнере. Еще до Чернобыля — после которого и лайнер утонул, и Миша давно в Америке, и к этому делу подкосило интерес. Телки их, конечно, будут лучше — о парнях не говоря. Физически развиты, кожа чистая, наполнение хорошее. Народ красивый, хули...

При этом ни толчка, ни искры. Может быть, стронций, может, просто время вышло, но, выходя в апрельскую ночь, Иван не испытывает ничего, кроме какой-то тяжести под сердцем. Он включает зажигание, и вдруг в его мозгу вся эта станция взрывается — пламя бушует и ревет в ночи, как в американском боевике.

Кварталом затемнившихся особняков он выезжает на улицу с блеском трамвайных рельс, сворачивает вниз на параллельную, огибает угол с витринами битком набитого французского ресторана и спускается к небольшой площади, где справа парковка.

Советский джип здесь вызывает эмоции. На лобовом стекле ему однажды изобразили свастику — у них, оказывается, по закону запрещенную. Лично Иван ебал, но брату жить. Чтобы не переполнять чашу, грузиться решили, когда дом уснет.

Заложив книжку карандашником, брат открывает холодильник. Американская. На обложке черный ящик типа несгораемого: раскрыл ебало и по-человечески вопит.

— Хоррор, что ли?

— В своем роде.

— То есть?

— Психоанализ, — удостоил брат. — Допьем или тебе не стоит?

Брат принес пыльную кассету и, зарядив систему, стоящую на подоконнике, убавил звук, но старые русские песни действовали все равно, особенно про дальнюю дорогу.

Иван вспомнил про семейные фото, которые привез, но было недосуг. Брат передал ему одну: "Здесь батя в сыновья тебе годится". Бравый гвардии майор на снимке с усами, они тоже. Что-то, значит, батя передал, хотя сейчас, жизнь спустя, трудно представить, что оба от этого корня. Один при коммунизме сделал ноги, за что другому перекрыли все пути. Теперь у брата, по профессии антисоветчика, перспектива пополнить ряды арбайтлос, тогда как ему, Ивану, казалось бы, дома полный ход...

Сердце ноет от тоски,
а в груди тревога. Эх, раз,
да еще раз...

Закончив бутылку "божол", откачались чаем, заваренным до черноты.

— Go?

Картонные ящики выносили на цыпочках.

На западе брат вроде не особенно преуспел, однако нагрозилось под самый потолок. Компьютер, принтер, ксерокс, факс, автоответчик. Все, что нужно для эпохи первоначального накопления. И видео — для кайфа, так сказать. Брат молчал, глядя, как он все это маскирует в перспективе стоянок в транзитных странах и на родине вытертым до основы одеялом, которым они поочередно когда-то укрывались: жизнь тому назад в одном провинциальном городе. Брат ничего не говорил, и он забил края под спинки кресел, на сиденье мертвеца, под которым стоял запас бензина, перекатил бочонок с пивом, а под свое засунул приглянувшийся ему в оружейном магазине длинноствольный Магнум-357. Газовый, конечно, но, если на таможне в Бресте не отнимут, хоть что-то

будет на случай частной инициативы в родном краю, богатом партизанскими традициями.

— У нас ведь как теперь? — сказал он. — Бревно навстречу, и ружье в стекло. Свобода, брат.

— Смотри. Южная Африка еще открыта.

— Да?

Пиная по колесам, Иван обошел машину. Усы брат стриг короче, и вообще за это время превратился как бы в младшего. В джинсах, в линялой черной тишотке он передергивался, как в ранней юности, ругая родителей или порядки:

— Ап-партеид. Последний бастион. Мыс Доброй, блядь, Надежды...

Обхлопываясь, Иван оглядел стоянку с бликами на "мерседесах", "БМВ", "фольксвагенах" и "ауди", уютную площадь с деревьями, которые были еще голыми, когда он здесь появился, с погашенными витринами и светящим супермаркетом через улицу, с бело-голубой неоновой короной и гербом над банком, выдающим прямо из стены наличность — ночью тоже. Дигитальные часы на углу показывали три.

— Не переживай. — Он усмехнулся. — Би кул. Как дочь у тебя говорит? Би кул, би хэппи.

— Абсурд же. Мир открыт, а некуда бежать.

— Все правильно. Было время, вы свободу выбирали. Теперь эта свобода выбрала нас.

— Что, я вижу, тебя не очень радует.

— Радоваться будут те, кто в России еще не родился. И будут ли, еще вопрос. Ты же тут тоже не очень...

— Почему? — возразил брат.

— Ладно, чего сейчас. Давай по последней, и поеду... Строить капитализм.

Отстегнув нагрудный клапан, Иван вынул пачку Prince of Denmark.

Откашлявшись после затяжки, брат произнес:

— Отдайте Гамлета славянам.

— То есть?

Брат назвал распространенную фамилию:

— Поэт ваш. Не читал?

— Кроме тебя здесь, кто же их читает...

— Тебе бы понравилось.

Много было мужчин с голубыми глазами...

— А дальше?

Но брат отвернулся, дотягивая из-под прикрыва пальцев.

Кроме интереса к худлитературе, осталась у него с родины привычка затаптывать бычки.

Неловко они сшиблись, обнялись. Скулы у обоих были, как наждак.

Брат хлопнул по кузову:

— Ты осторожно...

— Ладно.

— Поклон могилам.

И пошел к озаренной нише подъезда, имея на спине тишотки лозунг EXPLORE MONOGAMY.* Раньше-то и в этом деле был поборником свободы напорившийся на иностранку брат. Один из двадцати миллионов — это только себе представить! — целой страны из наших, каким-то образом впитавшихся в сей мир.

Не веря, что он отсюда уезжает, Иван вырулил налево мимо призрачной оранжереи, мимо небольшого дворца консульства Ирландии, мимо ресторана

Rive Droite и взял направо через старый мост, где на парапете слева полулежит в раскрывшейся листве статуя мускулистого юноши с орлом, раскрывшим крылья. Вчера, когда гуляли собак,

* Исследуй моногамию (англ)

он увидел, что юношу опидарсили, накрасив рот помадой, но брат эмоцию не разделил: "Весна..." Люминесцентное излучение штаб-квартиры Баварского банка царило в небе. Пустынной магистралью вдоль Изара он выехал на кольцо, потом на автобан.

Машины пролетали слева, по крайней правой плелся только он. Стоило стрелке перейти за 80, от приборной доски начинало потягивать гарью. На станции международного обслуживания, огромной, как завод, ему предложили разобрать мотор, но ни валюты уже, ни времени. Виза была действительна еще на месяц, но Иван чувствовал, что кончился лимит терпения иностранок — жены брата и дочери, которая по-русски вообще не говорила, хотя болтала по телефону на всех языках, красилась, в открытую курила и, запираясь с бритым под "бокс" лоботрясом под метр девяносто, демонстративно врубала на полную мощность Мадонну. Что любопытно, бой-френд ее при этом отнюдь не баскетболист, а нечто такое, согласно брату, что и представить трудно: депрессивный тип с суицидальными наклонностями, второгодки и в то же время начинающий писатель в жанре фэнтези и хоррор, упорно пишущий про Америку, где еще не был, и уже тиснувший пару рассказов в переводах на греческий и финский. Конечно, своя машина... Уточнив, что значит суицид, Иван предположил, что с жиру парень бесится, но, отвергая, брат поморщился. Когда же он пытался насторожить в том смысле, что не пришлось бы породниться с монстром, брат только отмахнулся: им, мол, бесплатными гондонами на всех углах карманы набивают, и вообще... "Что?" — "Мозгами девятнадцатого века, — ответил брат, — нам двадцать первый не понять."

Мозги, и точно — вдребезги. На второй в жизни свой западный день обмененную им валюту Иван спустил на рулетке в предгорьях Альп. Возвращаясь, свернули не туда. В ночи над полями только огни каких-то мачт. На проселке намотали на кардан колючей проволоки, там изгородь повалена была. Гольми руками в свете собственных фар он — как был при галстукке — стал выгаскивать колючки. Вдруг машина. Выскакивает этакий черный Шварценеггер в рубашке с пальмами: "Мэй ай хэлп ю?" И улыбка до ушей. Которая сошла, когда, отпрыгнув, Иван схватился за кол. Сорок лет в отечестве. Реакция сработала раньше, чем он понял человека, которому никогда не понять его, Ивана. Если уж брат перестал понимать.

Иван прямо у него спросил: "За что твоя жена меня так?" — "Как?" — "Ну... Анализирует. Бьет, куда больней." "Пыгается, наверное, разговорить, — ответил брат. — Методом шоковой терапии. Потому что пугаешь их". Иван удивился: "Я? Это чем же?" "А сидишь угрюмый. Приехал на Запад, а из дому не выходишь. Может, тебя в бордель сводить? За деньги? У нас это бесплатно. Так проявляйся, говори. Молчишь, как камень". "Чего там говорить. Все ясно". "Тебе все ясно, а для них ты, как "черный ящик". Самовыражайся". Пить они не пьют, но лично ему брат каждый вечер ставил красное: стронций выводить. "Самовыражайся". Когда даже ноль семьдесят пять французского язык не развязывал...

Заря разгоралась над заросшими вершинами Богемии, когда на большой высоте шлагбаум превратил баварский Айзенштайн в Железную Руду — первая транзитная страна, еще недавно братская.

Отец, которого ебаный ящик добил-таки дебатами насчет свободы выхода, любил рассказывать, как, адские водители, его ребята через такие же крутые горки вывозили золотой запас освобожденной одной страны, сто двадцать тонн. "А мысли не было?" — "Какой?" — "С этим золотом свалить к союзникам?" — "Это же было на восстановление страны. Ради конечной цели. Ты что, сынок? Да за одну такую мысль я бы собственноручно..."

Так и не понял батя, что случилось. Батя, который, несмотря на гвардимайорскость и завинченные вверх усы на фото со следами скрепки и круглой гербовой печатью 741-го автотранспортного батальона на обороте, в тот год Победы мог быть сыном —

ему теперешнему. Сталинский сокол, переживший крушение кура, чтобы дожить до времен, когда партвзносы пришлось платить тайно, как подпольщику. Бедный батя, намертво закованный в мундир. Ни студебеккер золота угнать, ни пригнать трофей на колесах — ничего для себя не смог. Всю жизнь мечтал о тачке, но даже "запорожцем" не сумел обзавестись, хотя до самой пенсии учил "фрондеров", которые не хотели стричь патлы и приходили на лекции без галстукков, академическому предмету под названием "Двигатель внутреннего сгорания". Сейчас бы его сюда. Батя бы все нам объяснил — где, как и почему заклинило.

В гору движок с трудом вытягивал. Под напором ящиков с электроникой мейд ин Джапан, ин Тайвань, ин Южная Корея немел затылок, свинцом затекали плечи, а впереди две тысячи километров и вся оставшаяся жизнь. Не глядя, отламывал он фильры, выдергивал шелкнувшую зажигалку, садил одну за одной и щурился от дыма. Потом опустил перед собой противосолнечный щиток — такой восход навстречу. Весна. Вот тут он встретил лыжников. По пути на Запад, куда гнал налегке, как мудака, предвкушая чуть ли не рай земной...

Выбравшись на поворот, Иван круто переложил руль вправо, но у края надавил на тормоза.

Ущелье под колесами чернело елями. Пачкая пальцы, он достал доньшко и задавил огонь. На воздухе его повело так, что он схватился за дверцу. Потом нагнулся, снял машину с тормозов. Приложив плечом, и она покатила на обочину. Вот так. И в жопу. Провалившись колесом, показав испод, коричневый, как на свалке, будущее кувырнулось в пропасть.

К Мише в Сан-Франциско? Своим путем. Найти своих, которые...

Эхо перекатывалось, утихая. На горизонте голубел Баварский лес. Цепко, легко и хищно спускался русский к черепичным крышам, надеясь, что внизу проблем не будет. Но даже если — не беда.

Границ отныне нет.

Мюнхен. 1991

" РУССКИЙ КУРЬЕР "
публикует рекламу
ИЗДАТЕЛЬСТВ,
ВЫСТАВОЧНЫХ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ,
ЛИТЕРАТУРНЫХ АГЕНТСТВ,
СТУДИЙ ГРАМЗАПИСИ,
КНИГОТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ...

Цены щадящие.

Страница обложки — 50000 руб.

Журнальная страница — 35000рублей.

Полстраницы — 20000руб.

Четверть страницы — 10000 руб.

**С вашей рекламой познакомятся
читающие по-русски интеллигенты
всех континентов земли.**

Адрес редакции: 123060, Москва,
ул. Маршала Вершинина, 3, корп. 1, кв. 91.



Генрих Сапгир

ПРОГУЛКИ ПО КОМНАТЕ

не люблю и никогда
еще говорила
бережно опустил трубку
мимо рычага
небо грубо выкрашено серым
там все еще произносят
бесцельно по комнате
начал фиксировать
сначала отрываю пятку
от пола
начинаю сгибать
коленный сустав
щелкает в колене
переносу ногу
щелкает подошва
квартира стала чернеть
двери не было
окон не было
людей не было
щелкает в колене
что-то с писком проносится мимо
слышно: в ванной
полнотой наливается
капля —
зеркальная слива
щелкает подошва
созрела
боже какое варварство
разлетелось милое лицо водяной
пылью
и уже течет алое по фаянсу полосами
бритва блеснула на кафеле
расплывается яркая звездочка под
потолком

сбежались кричат суетятся
почему электричество
не хочу чтобы — вечер
через перила балкона
падаю в утренний свет
вост сирена
земля ударяет в лоб
меня жалеют
а я не слышу
щелкает в колене
щелкает подошва
щелкает курок
как приятно быть нелюбимым
хоть бы что-нибудь произошло

ТАТАРИН

Замечательный Бойс
на вернисажах и в университетских
аудиториях
представляя собой некий сбой
никогда не снимал шляпы-шляпы
это был знак
возможно проявлял невидимое
в том числе и неявную лысину
или художнику
нравилось трогать ворс
это был Бойс...
жук — носорог
полз по поверхности дерева
металла
пробывал плотность масла
рыхлость картона
собственный вес
... а когда-то
здесь в безжалостном небе Крыма
выбросился из горящего "мессера"
это был бой
в лысой татарской степи
парашют волочил по стерне
полубессознательного юного Бойса
пачкающего солому коричневой
кровью
(как любил он после пачкать бумагу)
синие скулы и щелки — улыбка
"не бойся" по-русски
и еще по-татарски вроде "бай-бай"
бай-бай Бойс —
в забвенье окунулся как в масло
наверно оно и спасло
выходило

(помните акции неукротимого —
желтыми комьями жира
метил углы
уносил на подошвах —
месил жизнь
Бойс! это был бой! бой!)
... а тогда философ — маслбойка
ощутил впервые дуновение
меж редющими волосами
скинул пилотку "люфтваффе"
нахлобучил свою вечную шляпу-шляпу
на уши — локаторы
и поклялся быть вечным татаринном
кем и был достойный герр профессор
все свои последующие
годы
под германскими вязами

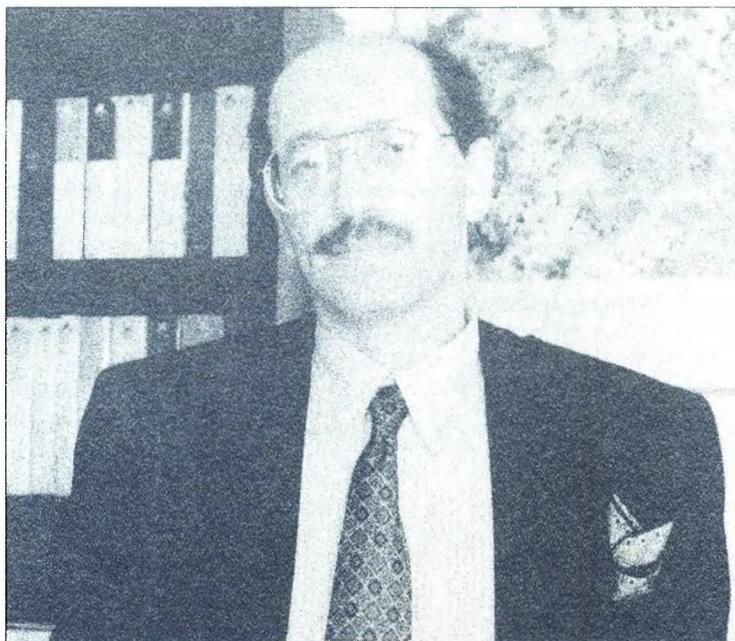
19 июля 1992 года — Крым

МОСКОВСКИЙ ПОДКИДНОЙ ДУРАК

как ни разложи
все равно выходит удивляться
сказывал мне собеседник —
седоватый крестовый король
каменным веером
ложились
московские улицы
шла игра:
то на площади
выдвигались танки
то смешенье всех —
и пики пики! —
народ
кипит и движется
то в машинах
козырные люди
неслись
по пустынным проспектам
то проигравшиеся

красные масти
кричали о мести
на лобном месте
говорят Москва всегда в выигрыше
посмотрите на лица
этих бледных игроков —
блефуют?
ну кто бы подумал
во дворце генерал-губернатора —
(недаром похож
на карточный домик)
тузы и шестерки!
власти бьют в бубны
а все проели черви —
говорят москвичи
а когда-то безусым валетом
я всегда находил себе даму —
как мы ночью в центре тасовались!
я давно хотел отсюда уехать
сказал собеседник
то одно подкинет
то другое --
вот я и остался
московский подкидной дурак

ПРОЗА



Александр Кабаков

РУССКИЙ КУРЬЕР

7

РУССКИЕ НЕ ПРИДУТ

РАССКАЗ

Когда Европейский парламент решил полностью закрыть восточные границы, катастрофа стала неизбежна. Беспорядки, а затем и эпидемии, возникшие в приграничных лагерях советских эмигрантов, стали началом конца...

"Русская катастрофа и гибель Европы".
Сборник исторических трудов. Токио.

К утру в палатке становилось так холодно, что в спальном мешке оставаться было невыносимо. Он, выползая, переживал

самое страшное — ледяной воздух сжимал поясницу — и одевался старательно, не спеша, аккуратно заправляя рубашку под пояс, туго шнуря ботинки, застегивая тщательно все пуговицы и молнии. Потом он выходил, оставив полог открытым, чтобы за день палатка проветрилась и прогрелась изнутри дневным воздухом.

Он выкарабкался из ложины. Лес был гол и насквозь доступен взгляду. Между деревьями тлели горки мусора, обгорелые куски газет, шевелясь, медленно двигались под ветром от одной сгоревшей свалки к другой. Однажды из-под кучи обугленного барахла он достал совсем не пострадавшую красную книжечку

паспорта и оставил себе. С этого времени он превратился в Киселева Игоря Михайловича, родившегося в Москве тридцать девять лет назад, там же, в городском ОВИРе и получившего этот документ, дающий право покинуть страну.

Он выходил к большой поляне, к лагерю.

Здесь только-только начиналась вялая, полусонная жизнь, сегодня — позже обычного. На ствол обломившегося старого ясеня помощник старосты прикалывал кнопки — их язычки упрямо подгибались — очередные объявления. "Седьмого ноября 1992 года состоится общелагерный митинг в честь годовщины Великой (проклятого) Октябрьской (ноябрьского) социалистической (антихристовой) революции (переворота). Коммунисты — с 10.00 до 10.30. Монархисты — с 10.30 до 11.00. Кадеты — с 11.00 до 12.00. Социал демократы и анархисты — с 12.00 до..." Было очевидно, что и помощник и сам староста сочувствуют конституционным демократам, впрочем, это было понятно и без объявления: к телогрейке второго из лагерных лидеров была приколотая розетка цветов русского флага с едва узнаваемым портретом Милюкова в середине. "Всем, не имеющим чехо-словацкой, венгерской и других промежуточных виз, сдать по 1500 новых рублей на приобретение анкет." Еще неделю назад эти анкеты брали всего по 500... "Заседание лагерной комиссии в среду, в 17.00, в палатке лагсовета. Повестка дня: 1) утверждение очереди на Францию (11 виз) и Скандинавию (Швеция — 3 визы, Дания — 3 визы, Норвегия — 7 виз); 2) персональное дело Шустермана М.С., о передаче израильской визы в германскую; 3) перспективный план работы по выявлению лиц европейской национальности среди фолькдойчей (с участием Израиля)". Помощник старосты выронил кнопку и неумело, но зло выматерился.

По лагерю бродили растрепанные женщины в пальто, из-под которых у многих выглядывали полы халатов: несмотря на категорический запрет лагсовета, прямо в палатках жгли туристские примусы и ночью раздевались... В октябре уже было два пожара, сгорел мальчишка.

У трейлера " " очередь уже завивалась кольцом. Сегодня, по случаю субботы, в ней были почти исключительно мужчины — так повелось с тех пор, как в одну из сентябрьских суббот выдали по банке пива. Чуть в стороне стояла пучеглазая каракатица ооновского вертолета, возле нее топтался патруль, трое тяжелолицых бельгийцев, их голубые береты были подсунуты под погоны, куртки расстегнуты, и все равно им было жарко — похоже, что хорошо хватили, спасаясь от ноябрьской сырости, еще до завтрака. Бельгийцы с вялым безразличием смотрели, как с другой стороны трейлера, у кабины, выстраивалась вторая, короткая очередь: весь лагсовет (кроме самого старосты, ему принесут в палатку), несколько известных в лагере деловых ребят, человека три из группы самообороны, в пятнистой униформе из разгромленных армейских складов и с трехцветными повязками на рукавах... Водитель трейлера, огромного роста француз, в одной майке, из коротких рукавов которой выдавливались окорока ожиревших бицепсов, уже раздавал большие картонные коробки, дружески хлопая лагерное начальство по плечам.

В большой очереди народ стоял молча. Начал мелко моросить дождь, лица намокли, по щекам текло, но этих людей нельзя было принять за плачущих: они смотрели с таким угрюмым спокойствием, будто были отделены от жизни стеклом, сквозь которое видели и это утро, и дождь, и очередь, будто не участие, а наблюдение связывало их с кошмаром...

На противоположном конце поляны он разыскал маленькую палатку, откинул полог, заглянул. В сырой, затхлои мгле тут же зашевелились, засуетились. и, едва не столкнувшись с ним лбом, из палатки вылез мужчина. Это был низкорослый, большеголовый человек с широкой грудью, длинными руками и очень маленькими ступнями — он стоял, чуть переминаясь, дорогие кроссовки почти детского размера будто жили какой-то отдельной жизнью. Видимо,

он вообще нервничал — то приглаживал и без того гладкие, плоские волосы, прилипшие к черепу, то прочищал мизинцем ухо. От этой суеты бросалась в глаза не его мощь, грудь гиганта, руки гориллы, а уродство, непропорциональность почти карлика.

— Ну что, сегодня мы пойдем, пойдем? — большеголовый повторял по одному слову из каждой фразы дважды, эта манера как-то сочеталась с гигантским перстнем и множеством золотых зубов... — Уже пойдем или нет? Я отдал вам эти двести зеленых отдал? Так что же мы ждем, что? Я не хочу быть последним, уже весь Борислав там, один я здесь, что такое...

Надоело, подумал он. Надоели эти несчастные местечковые евреи, высокомерные питерские пьянчуги-интеллигенты, бестыжие московские дамочки, спасающие мужа и детей под каждым кустом, надоели бешеные челябинские и кемеровские пацаны, жаждущие дорваться до джинсов и двухкассетников, — все надоели...

— В половине первого к ручью, — сказал он негромко и не очень внятно, но большеголовый уже молчал, уже слушал, буквально раскрыв рот, и не пропускал ни слова, можно было не повторять. — К тому месту, где стоит сожженный "Жигуль". Оттуда пойдем. Понятно все? Вторые две сотни отдадите там. О выходе — никому, кроме тех, кто идет, это, надеюсь, ясно?

Не дожидаясь ответа, он повернулся и пошел в лес. Он знал, что большеголовый обязательно придет сам, приведет своих и никому больше не скажет — еще никто не подвел.

...Пулемет гремел, этот ужасный, гулкий звук, казалось, был не машинным, чужеродным здесь, а исходил из самого естественного голого ноябрьского леса, из черных на фоне черного неба облетевших деревьев — будто железные ветки стучали под ветром друг о друга. Когда наконец стало тихо и отзвенело в ушах, он вылез из уже чуть осыпавшегося окопчика (он вырыл его здесь еще в июле) и пошел, глядя только прямо перед собой, на уровне роста, отмечая стволы, рассеченные очередями до сияющей в темноте белизны древесного мяса. Главное, нельзя было смотреть на землю, к этому привыкнуть не смог. Каждый раз становилось нехорошо, однажды чуть сам не упал, увидав девчонку... В этот раз все-таки увидел большеголового: привалившись к нетолстому дубку — пятки кроссовок, поехав, сгребли валики земли и жухлых листьев, уперлись — убитый стоял...

Молча он выгачил из кармана уже приготовленную сотню и протянул старшему из мальчишек. Небрежно, не считая, тот сунул деньги в нарукавный карман военной куртки, презрительно скривился.

— Хреновый ты проводник, понял? Сегодня метров на пять левой вывел, а мы тут упираться должны за столбик... Смотри, промажем — тебе хуже будет. Можешь вместе с жидочками залечь... Короче, за эту работу с тебя еще полтинник, понял? Штраф...

Пацан ухмыльнулся, и он подумал, что, если сейчас не поставить сопляков на место, в следующий раз могут действительно пристрелить — эти выродки способны ради двух сотен сию минуту пренебречь будущими тысячами.

Тот, что говорил, продолжал усмехаться. Подростковые прыщи у него уже сошли, но лицо осталось изрытым, сизым. Ленточка с буквами "РВИС" — "Российская вольная пограничная стража" — была пришита над нагрудным карманом криво, неровными крупными стежками. Фонарь, большой американский полицейский фонарь держал один из двоих, стоявших по бокам командира, автоматы они уже закинули за спину... Мигнув, отлетел в сторону фонарь, и лишь желтая трава осветилась теперь вокруг того места. Ручной пулемет командира рванулся стволом вверх, очередь полоснула в небо, но мальчишка уже опустил оружие, падая, сгибаясь, зажимая ладонями пах... Свет фонаря ударил в глаза окаменевшим в ужасе пацанам, он крикнул: "Руки! Руки вверх, ну..." — и, не дожидаясь, пока руки вознесутся вверх

в луче света, ударил длинной очередью... Командир еще шевелился, под клубящимся светом фонаря темная кровь толчками, все больше и больше, заливала куртку. Едва удерживая одной рукой пулемет, он приподнял ствол, выключил фонарь, чтобы не видеть, и дал очень короткую — выстрела в три — очередь.

Потом он возвратился в палатку. Можно было поспать часов до двух.

Сумрачный тек день, дождь шумел непрерывно, рядом с палаткой мок принесенный от какой-то недогоревшей свалки обрывок старой газеты с крупным заголовком: "Ночные выстрелы в лагере у границы." Бульдозеры шли сразу за головным танком, замыкала колонну бэмпэ. Въехав в ложину, танк остановился, из открытого люка вылез до пояса парень в чудовишно грязном комбинезоне и глубоком шлеме. "Эй, — заорал он, — вылезай из палатки, а?" Тут же из кабины бэмпэ высунулся офицер, его защитная полевая шапка была косо сдвинута, козырьком на ухо. "Халилов, — окликнул он, — чего орешь? Видишь, нет никого... Действуй! Темнеет уже, скребена мать, мы с лагерем разобратся

не успеем..."

Люк захлопнулся, моторы заскрипели отчаянней, и следом за танком по молчавшей одинокой палатке прошли оба бульдозера.

Лагерь уже задыхался в суете. Люди уходили в лес, кто-то еще пытался свернуть палатку, кто-то тащил узлы... Первой в лес ушла одна пара, их почти никто не знал в лагере, они появились недавно и незаметно, не участвовали в лагерной жизни и сейчас снялись первыми. Когда танк ворвался на поляну, они уже были далеко. Они шли строго на запад, мужчина поддерживал женщину, помогая перелезть через поваленные деревья. Заночевали в пустом каменном сарае, каменный пол в нем был чисто выметен. Вдали чуть темнели силуэты Европы — двухэтажные домики, игла ратуши и более высокая — собора. Ночью, не просыпаясь, женщина заплакала, мужчина почувствовал ее слезы на своей щеке — и зарыдал сам, трясаясь, скрипя зубами, зажимая рот, изо всех сил стараясь не завывать в голос.

10-12 декабря 1990 Москва

ПОЭЗИЯ



Инна Лиснянская

РУССКИЙ КУРЬЕР

9

ТРИПТИХ ДОРОГИ

1

Которую бессонницу
Твержу одну нелепицу
Про замершую звонницу
И черную бесхлебицу,
А звон еще качается,
Еще пшеница мелется,
И жизнь еще вращается
От месяца до месяца.

А месяц ртутным столбиком
Средь небушка стоит
И с близлежащим облаком
По-русски говорит:
Юродивая досыта
Пусть плачет и про то,
Что дней земных у Господа
Отнюдь не решето.

2

У Бога дней не решето,
Я поздно спохватилась,
В мешок засунула пальто
И в дальний путь пустилась.

В одной руке моей мешок,
В другой — сосновый посох.
В стрекозах истринский лужок,
В лучах росистый воздух.

Холмы в малиновых кустах,
В золотых коронах перца.
И слово на моих устах —
От презыбытка сердца.

3

Дней у Господа не решето,
Но достигну я мест святых,
Где ничто еще не решено
И продолжен библейский стих
Расчудеснейшей из олив,
Что цветет со времен Христа, —
Гефсиманского сада прилив
И мои окропит уста:
Дней у Бога не решето,
Но достаточный есть запас,

Чтобы не предрекал никто,
Что грядущего нет у нас.

21 июля 1991

* * *

К чему бы чистотел мне и сурьма?
Пусть самый никудышный я поэт,
Но я есть свет перед тобою, Тьма,
Но есть и тьма перед тобою, Свет!

Мне ни к чему сурьма и чистотел,
Всему и всем живу я поперек, —
Так ангел меня в белое одел,
Так дьявол меня в черное облек.

26 июня 1992

* * *

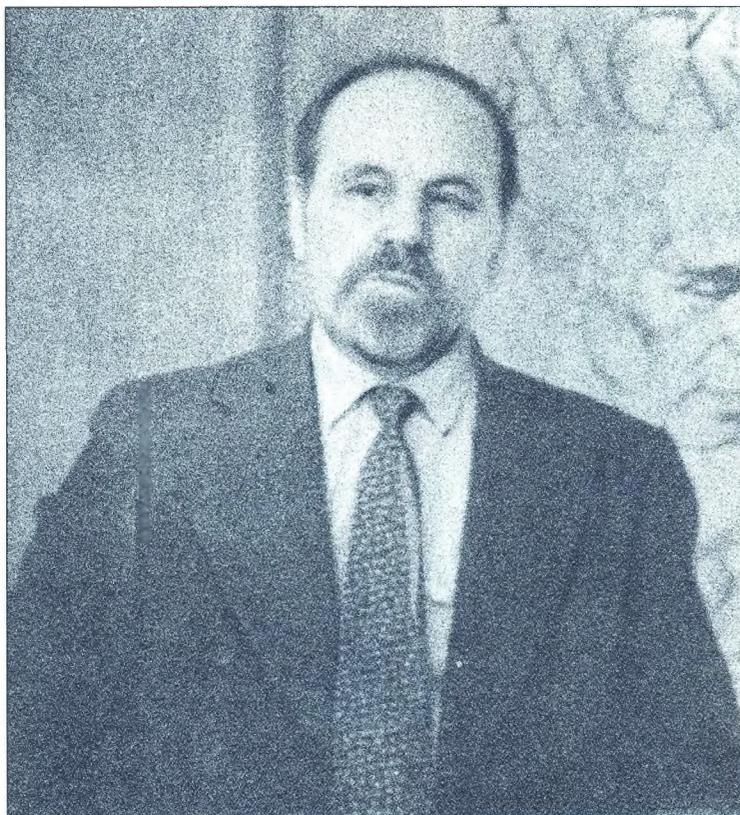
Какой здесь разыграли фарс
Общественно-интимный?
На сцене времени сейчас
И сны декоративны,

Стою, — которая есть сон, —
На заднем плане синем
Средь размалеванных знамен
На дохлой древесине.

Я выкроена из коры
И не могу быть вещей,
А сбудется лишь ход игры
На сцене сумасшедшей.

14 марта 1992

ПРОЗА



Михаил Воздвиженский

ЧЕРНАЯ КОШКА ПОД ДОЖДЕМ

(Московский, 1992 года, вариант Э. Хемингуэя)

РАССКАЗ

Она лежала на зеленой тахте, вытянув ноги, и смотрела в потолок, обклеенный обоями. Темные волосы ее были смяты, влажная прядь прилипла ко лбу. Ему нравились осторожные жесты ее рук, зыбкий близорукий голос, то, как она не спеша, обстоятельно обдумывала ответ на самый простой вопрос. Думая о том, что ему нравится ее степенная рассудительность, он не мог объяснить истоки непринужденной легкости, с какой она согласилась придти и остаться на ночь.

За стеной у соседей играла музыка и были слышны голоса.

Его раздражал шум, раздражало, что гости часто выходили в холл перед лифтом, нервировали пьяные монологи и вызывающе-вульгарный женский смех. В какой-то момент этот шум оказался как бы и к месту, в известной мере заменил необходимые, растерянные слова. Под чужой шум он впервые поцеловал ее висок, впервые коснулся ее груди, не заметил, как тело ее вытянулось и оставалось измерить его длину своим телом. Но теперь шум терроризировал его, и особенно давили неожиданно наступающие паузы. Он насчитал их две. Он не сомневался, что и она после

10

РУССКИЙ КУРЬЕР

второй паузы, когда снова загремела музыка, знала, что пауз случилось две. Он заметил, что именно после второй паузы, она слепым взглядом уставилась в потолок.

— Почему этажей девятнадцать, а не двадцать? — спросила она.

— Есть еще технический, получается двадцать. Я специально взял последний, чтобы хоть над головой не гремели!

— Вполне достаточно и этого! — Она качнула головой в сторону гудящей стены.

— Кстати, это впервые за шесть лет. Жена с детьми уехала в деревню, вот он и привел. Обычно-то, в девять уже спят, даже телевизор не смотрят. Классный лекальщик, а теперь охраняет частные ларьки. Деньги загребает бешеные, чего не повеселиться!

— Там две пары... А сколько раз ты веселился за шесть лет?

— Я шесть лет холост, другой вариант. Чего считать...

— А еще у них мяукала киска, — сказала она улыбувшись.

— У них нет кошки! Откуда?

— Но я слышала, как мяукала киска!

— Она могла где угодно мяукать... Пойду-ка я сварю кофе!

— Давай, я приготовлю! — предложила она привстав.

— Нет, нет, я сам! Я принесу тебе сюда.

На кухне он поставил кипятить воду и закурил. Было три часа ночи, уже слегка светлело. Он открыл окно. Шел дождь, первый за все лето. Он высунул голову и посмотрел вверх: надолго ли? И тут он увидел кошку. Кошка тоже смотрела на него. Она свесилась почти наполовину и как будто прицеливалась прыгнуть к нему, вниз. Однако поняв, что карниз слишком узок, она поджала свое тельце и только вопила, смотря человеку в глаза, прося о помощи. Надо бы снять ее с крыши, подумал он, ощутив в ту же минуту непомерную вялость. Ему очень не хотелось выходить из квартиры, не хотелось подниматься по загаженной бомжами и приходящими поддавалами лестнице, не хотелось пробираться по темным закоулкам технического этажа, также обезображенного экскрементами, объедками и битым стеклом. А еще не хотелось встретить гостей соседа, внутренняя неприязнь к ним не позволила бы ему поздороваться, он не смог бы, пожалуй, холодно кивнуть им.

Капли дождя загасили сигарету, он выбросил ее и закрыл окно. Он закрыл его поплотнее, сказав себе, что у кошки наверняка есть хозяин, кроме того, черная кошка — персона кабалистическая, так уж посчитали люди, и если черную кошку принято обходить стороной, то как можно черную кошку взять в руки, тем паче чужую. Следя, чтобы не убежало кофе, он почувствовал щеко-чущий холодок у лопаток — знак чрезвычайной усталости, легко, впрочем, объяснимый: он уже год не обедал, рацион его состоял из легкого завтрака и еще более легкого ужина.

Он поставил кофейник на стол рядом со свечой. Она сгорела дотла, и на подсвечнике бесформенной массой застыл оплывший стеарин. Глядя на унылый рисунок воска, он как бы спохватившись, вспомнил, что его всегда привлекали худые женщины с развитой грудью, а молоденькая красавица, которая теперь лежала в его комнате и одиноко подсчитывала паузы, помимо уникальной фигуры, обладала математическими способностями, а недавно написала по мимолетному увлечению философией эссе о Трубецком, и ее работа была напечатана в специальном журнале. Подарок судьбы, божий дар! Меж тем, чувства особой радости и вполне объяснимой мужской гордости что-то не возникало. Превалировала вяжущая усталость, не позволившая пойти и снять кошку.

Разливая кофе в чашки, он подумал о том, что еврейки в таком возрасте, как бы ни были они красивы, почему-то очень легко отдаются, словно выполняют священный обет покорности мужчине. Кошка по-прежнему скребла бетонную панель. Намереваясь все же соскочить на карниз, она, судя по всему, упрямо примеривалась, и боязливый звук ее когтей надломанно давил, пугая мысли.

Он поставил кофе на столик у кровати, говоря себе, что кошки не разбиваются, они планируют, и эту их особенность хорошо объяснили ученые.

— А сколько лет твоей дочери? — спросила она, отпив глоток.

— Много. А сын тебе ровесник.

— Он женат?

— Собирается. Требуется квартира. А почему ты одна? Такая, в сущности, красавица и...

— В сущности? — она отпила еще глоток. — В подмосковье горит лес, а дождь пролился над городом...

— Прости, ты просто красавица. Ты прелестна! Во всей Москве...

— И несмотря на то, хочется сигануть с балкона. Я тоже высоко живу. Все примериваюсь. Давай, я тебе поглажу белье...

— Поглажу как-нибудь сам, что за проблема!

— Мне придется тебя усыновить, чтобы я могла здесь распоряжаться!

— Ты умеешь распоряжаться? Мне показалось, что ты смиренна, как монастырская затворница. Может, допьем, там осталось!

Оказавшись на кухне, он нетерпеливо открыл окно и посмотрел вверх, ища свою мучительницу. Но кошки не было. Он взял со стола рюмки, сполоснул их и тщательно вытер полотенцем. Он собирался уже отнести их вместе с бутылкой, в которой оставалось достаточно венгерского вина, но не заметил, как снова оказался у подоконника. Он хотел открыть окно, однако страх сковал руки. Надо идти, сказал он себе, я выгляжу идиотом! Он вздрогнул, когда вдруг услышал за спиной дыхание, а затем спиной ощутил ее груди.

— Ты все время уходишь от меня... А дождь кончается. И киска перестала мяукать. Смотри, сколько окон светится в доме напротив.

— Хронические полуночники... Мальчик всю ночь играет на гитаре, мальчик, видимо, болен, раскоординированные жесты. На восьмом не спит чудесная парочка, садятся за стол часов в двенадцать и до рассвета едят. Всю ночь жуют. Этажом выше не менее диковинная девица: по ночам кому-то звонит! Трубка у нее, словно часть тела, трудно понять, как она ее держит. На шестом этаже живет неподвижная женщина, часами стоит в одной позе. Долго будешь всматриваться, пока убедишься, что это живой человек, а не висящий халат или открытая дверь шифоньера. Иогиня, наверное...

— У нас бабушка по ночам плачет, ночью ей становится страшно. Днем насмотрится телевизора, а ночью плачет: без войны разгромили жизнь! Я живу ради них. Странно, одни беспокоятся, что закололо в боку, другие ищут способ разделаться с жизнью...

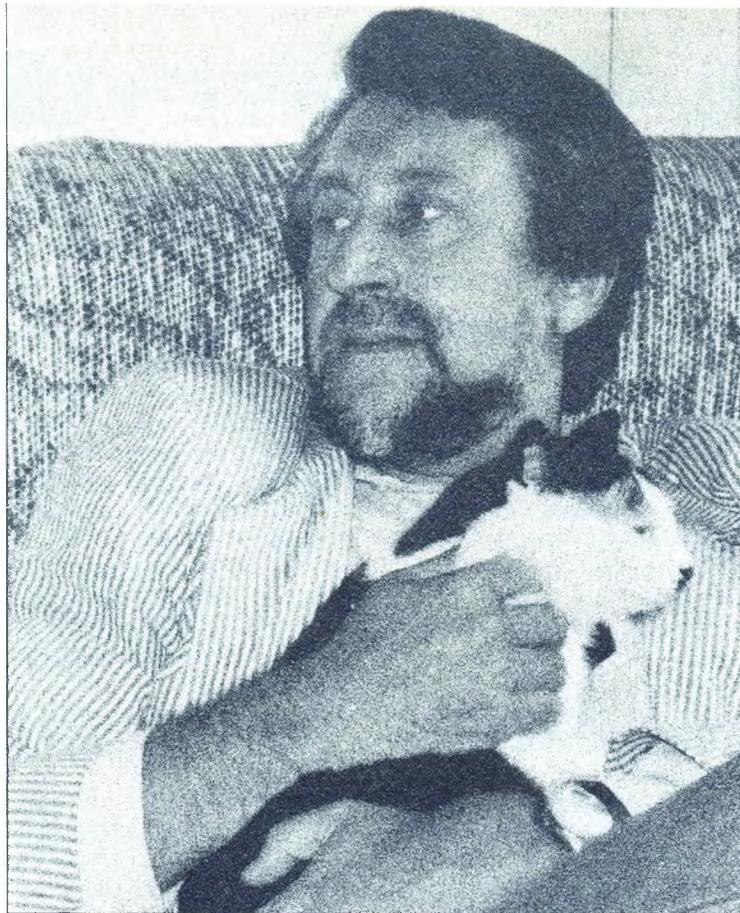
— Пойдем, нас ждет бутылочка! — сказал он, повернувшись к ней и слегка отстраняя ее от окна. — Ты несешь какой-то ужас! Пойдем, мы выпьем в кровати, хорошо?

— Это киска навела тоску. Животных особенно жаль, их бросают.

— Да, — согласился он, уловив, что за стеной стихла музыка и наступила новая пауза. — Верно, им несладко. Возьми рюмки, а я захвачу бутылки и сигареты.

Он поцеловал ее в черные волосы, он поцеловал ее нежно, он впервые поцеловал ее очень нежно. И когда она покорно пошла в комнату, когда исчезла в прихожей ее матовая фигура, он быстро распахнул окно и решительно, поборов трепет, посмотрел вниз. В траве, около клумбы, разбитой жильцами первого этажа, среди желтых цветов, он увидел черное пятно. Он какое-то время подержал пятно в зрительном напряжении, надеясь, что оно придет в движение, но пятно оставалось неподвижным.

Москва



Юрий Кублановский

* * *

Целый день по стеклу барабанили капли, струились,
потому и взглянуть за окно мы с тобою ленились,
а аукались так — чтобы было нежно и щемяще,
в первом тронутой тленом российской словесности
чаще.

С пожелтевшего фото глядели на нас, как с порога,
в мутном кипене астры над клювом у лебедя Блока,
хладнокровно считавшего сыпкие шпильки у милой,
но разлюбленной и —

сумасшедшего перед могилой.

Только так он и вырвался было из нашего ада,
прободав оперение пиками Летнего сада,

устремляясь туда, оторвавшись от стана ли, стада.
Возвращаться откуда уже и нельзя и не надо.

...Безопасно ли в сумерки нам хорониться друг
с другом? —

с маскировкой плотной на лампе, бликующей кругом
от стены к потолку с облупившейся блочной побелкой
и разбитой "спидолы" то музыкой, то перестрелкой,
под которую мы о замышленном шепчем побеге
из разросшейся зоны

на тряской воздушной телеге.

1981

ПЕРЕД СМОЛЬНЫМ

Литературная композиция

Лазурный Растрелли задумал собор
превыше, чем туча и птица.
Огромные суммы ему не в укор,
столь ласково императрица
взирает на бархат его панталон,
в паху округлившись в складку,
как в самую белую ночь небосклон
над берегом, давшим усадку.
С чертежной линейкой дородный посол
щуршащего лаврами зноя

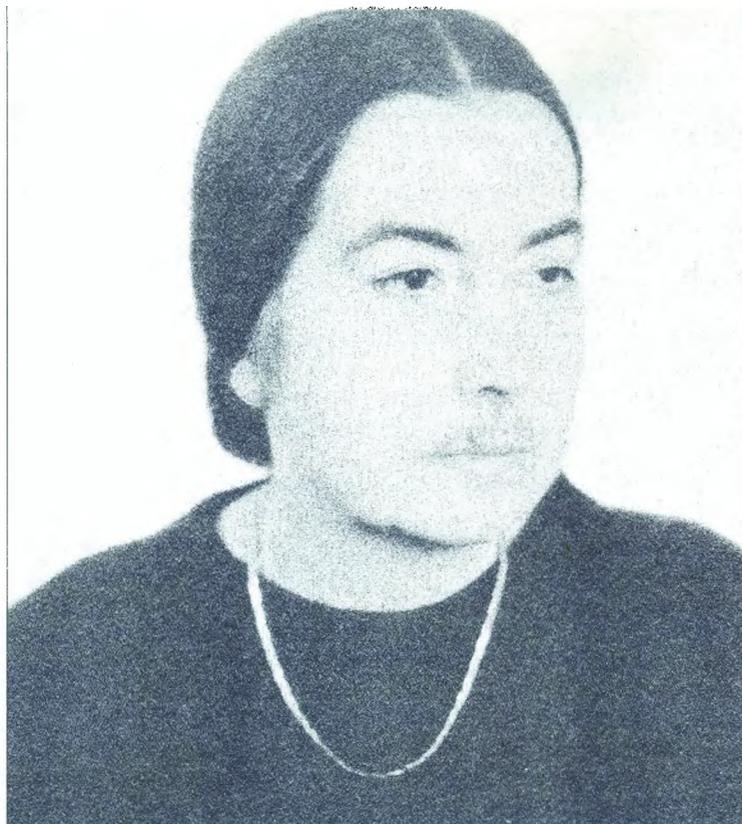
вдыхает балтийской селедки засол,
над хлябями дерзостно стоя.

*

Святое писание знать на зубок,
вставать по звонку спозаранок...
Сколь много секретов хранит между
строк
синодик левицких смолянок!

Бывало, сюда приходил государь,
задумав придворную смену.
Отсюда — как жемчуг, запрятанный в
ларь,

сам Тютчев похитил Елену.
Вослед им крылатые щерились львы,
чадили ростральные плоски...
Но в нашей чухонской Пальмире, увь,
века похотливы, как кошки.



Наталья Семынина

ЦАРЕУБИЙЦА

РАССКАЗ

Колесница тяжело переваливалась на ухабах. Черные фигуры мотались на черной скамье, узкой и непомерно высокой, назидательно взнесенные над толпой. Прикрученные к сиденью ремнями, повязанные по рукам и ногам, они смотрелись чучелами каких-то зловещих птиц, дерзко темнея своими грубыми армяками в молодом, весеннем, лучезарном воздухе. Позорная колесница катила по улицам и проспектам заранее определенным ей маршрутом сквозь строй полицейских и солдат, теснивших народ на панель, совершала свой роковой путь, в конце которого ее седоков ждал эшафот.

У каждого на груди висела черная доска, на ней белыми буквами было выведено: ЦАРЕУБИЙЦА. Казенное одеяние, особенно убогие черные шапки, арестантские шапки, не красили осужденных; угадывалось желание унижить их, заставить испытать до дна чашу позора, вообще весь мрачный ритуал как будто вдохновлялся какой-то мстительной фантазией, впрочем, не слишком оригинальной.

Лица осужденных были бледны, сурово белели в черном обрамлении. Эта нездоровая бледность напоминала о каземате, но не свидетельствовала о малодушии. Смертники не выказывали страха. Человека наблюдательного и бывалого не могло не поразить их самообладание. Только самый молодой из них, тонкий юноша, вдруг рванулся из своих пут и что-то крикнул в толпу, но слова его заглушила барабанная дробь. Юноша порывисто обернулся к своему соседу и что-то сказал ему. Красивое лицо того, кого молва называла главарем заговорщиков, осталось невозмутимым, только презрительная улыбка покривила губы. Женщина смотрела прямо перед собой, на ее восковом лице разливался странный покой.

То, что среди заговорщиков была женщина, не являлось новостью для слушателей, но упоминание о преступнице все же поразило слух.

Мать слушала, приоткрыв румяный рот, блестящими глазами глядя на приезжего.

Тетка шумно вздохнула и выпалила:

— Злодейка!

— Злодеяние, действительно, экстраординарного свойства, — согласился рассказчик.

— Невиданно.

— Отчего ж, — возразил приезжий господин.

— В самом деле? — опять не утерпела тетка. — А то мы тут в захолустье ведь ничегошеньки не знаем, живем по-старинке, тихо, мирно, в страхе Божиим. Что с нас возьмешь — провинциалы.

— И слава Богу, — убежденно сказал отец.

Мать по-прежнему молчала и по-прежнему жадно вглядывалась в рассказчика.

Он, кажется, был не из тех, кого легко сбить с толку, вполне светский человек, он ловко поймал ускользающую нить разговора и уже не отпускал ее. Снова его мерный голос заполнил гостиную.

Рассказчик он был мастерский и требовал уважения к своему искусству; он четко вслушивался в звучание собственного голоса и неспешно, обдуманно ронял слова. В самом рассказе своем он черпал вдохновение, он признавал самоценность повествования. Он рассказывал не на потребу слушателей, скорее, он словом поверял себя, достоверность собственных впечатлений, отливал их в законченную форму.

Он уточнил: на женщине была черная головная повязка, подобие уродливого капора. Присутствие женщины сообщало мрачному действию особый привкус, особо возбуждающий, острый приправы, специй, да простится немножко вольное сравнение. Как будто токи проходили по толпе. Женщина на колеснице смертников и стесняла и дразнила одновременно. Замечала ли она нескромные взгляды толпы? Женщина смотрела в пространство,

тихая улыбка иногда трогала ее бледные губы, быстрый румянец покрывал запавшие щеки.

— Удивительно, — вдруг доверительно произнес рассказчик, и снова показалось, что он разговаривает сам с собой, — как много могут вместить каких-нибудь несколько минут. Говорят, в эти последние минуты вспоминают всю жизнь. В уме проносятся как один миг. Вся наша жизнь всего лишь один миг. Не так ли?

Тетушка надула губки.

— Оставьте! Как можно равнять нас с этими извергами?! Я девушка скромная, но думаю, что не лишена сердца и нравственных правил. Вообразить себя на месте этой ужасной женщины? Да я содрогаюсь от одной только мысли, — пылко заключила она.

— Да, содрогаешься, — с непонятной улыбкой отозвался столичный господин.

В нетерпении забыв об осторожности, мальчик высунулся из-за портьеры, притаившись за которой, подслушивал разговор. Обычно после чая его отсылали из гостиной, он послушно и без сожаления возвращался в детскую, беседы старших были непонятны и скучны. Но столичный гость поразил с первых минут. Он не походил на их прежних знакомых, неведомый, как чужестранец. Его смуглое узкое лицо, казалось, было отмечено какой-то тайной, его глубокий баритон звучал неназойливо, но властно, покоря слушателей, он увлекал. Он говорил о другом мире, о жизни огромного города, о его великолепии и нищете, о людских страстях, беспощадной борьбе за существование, о его балах, гуляньях, блестящей суете и о человеческом одиночестве...

Когда мальчика стали настойчиво выпроваживать из комнаты, он понял, что сейчас начнется самое интересное, о каких-то событиях в столице обмолвилась тетка за чаем, о великом потрясении, — мать сделала страшные глаза и кивнула на сына. Все только и ждали, когда он отправится восвояси, в свою постылую детскую, дальнюю, как ссылка, как изгнание. Мальчик знал, что все мольбы и просьбы остаться не возымеют действия, он покорился: встал и вышел. Но на подлороже остановился. Он не смог совладать с собой, крадучись, на цыпочках вернулся к гостиной, прошмыгнул в приотворенную дверь, не сам ли он по растерянности забыл закрыть ее за собой, и спрятался за гардину. Он был вознагражден захватывающим рассказом.

И сейчас, досадуя на глупую помеху, взрослые вечно не к месту заводят диспут, мальчик еле сдерживался, чтобы не ворваться в комнату, не топнуть ногой, не закричать.

Он не подумал, что выдает себя с головой. Отец, кажется, заметил его, по крайней мере он смотрел в его сторону, но виду не подал, что обнаружил соглядатая.

Тем временем тетушка в пространных выражениях отдала дань наблюдательности остроглазого господина. Разглядеть во всех подробностях мимику, заметить румянец, мимолетную улыбку.

— Как будто вы все время были рядом, сопровождали их на всем пути. Рассейте мои сомнения. Вы не новый Калиостро?

— Я ж говорил, — учтиво возразил он, — понятие времени относительно. Минуты бывают бездонны. На самом деле за несколько минут можно увидеть очень много. Я видел все.

Последние слова упали гулко и тяжело. Зловещая пауза повисла в гостиной.

Рассказчик пояснил, что был на площади в тот момент, когда туда въехала позорная колесница и остановилась у эшафота.

Черный помост окружали черные перила, на эшафот вели ступени, в глубине выселись три позорных столба, а по бокам помоста возносились мощные деревянные опоры, соединенные перекладной — общая виселица для цареубийц; к перекладной были прилажены крюки, на которых болтались веревки с заготовленными удавками.

Палач с подручными по очереди развязал осужденных, помог им слезть с их позорной повозки и взойти на эшафот; первые

шаги они сделали с трудом (затекли в дороге связанные ноги), но по ступеням поднялись бодрее. Стало тихо-тихо, огромная толпа замерла и затаила дыхание. Приговоренных выставили к позорным столбам. Смертники покорно следовали указаниям палача, но лица их не выражали унижения и смирения, не мелькнуло на них и раскаяния.

Гордое лицо красавца по-прежнему было холодно и спокойно, но какая-то мертвенная тень легла на него, тень нездешнего. Ничто не дрогнуло и в лице женщины, но глаза ее беспокойно блуждали, как будто шарили по толпе, выискивали кого-то. Последний привет, последнее прости? Хотя невелика надежда отыскать одно единственное лицо в людском море-океане, в бескрайней зыби человеческих голов. Женщина глядела поверх солдат, поверх конных, пеших, строя барабанщиков. Или в этот последний, отчаянный миг взор приобретает магическую силу?

На помосте появился какой-то судейский чин и, напрягая голос, багровея шеей, начал читать приговор. По ходу чтения народ стал отвлекаться, на периферии толпа заколыхалась, нестройно загудела. Судейский с явным облегчением добрался сквозь дебри канцеляризма до ясного завершения: лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение — и поспешил покинуть лобное место, уступив дорогу священникам. Толпа снова затихла и напряглась. В полном облачении, с крестами в руках, священники поднялись на эшафот, приговоренные шагнули навстречу, каждый поцеловал свой крест, священники осенили их крестным знаменем и в гробовой тишине сошли с эшафота. Палачи подвели осужденных к виселице. Первым обрядили в саван юношу, палач накинул петлю ему на шею.

Отец в упор посмотрел на мальчика и выразительно кивнул на дверь, жест был непререкаем, Сын не посмел послушаться и попятился из гостиной; он был слишком возбужден, чтобы пускаться сейчас на новые хитрости. Он оказался в темном коридоре, до него доносились голоса, кажется, они о чем-то спорили, явно выделялся сильный голос приезжего, но мальчик не прислушивался. Он не чуял ног под собой, стоял, не замечая обступившей его темноты, озаренный своим видением, оно возникло ярко, зримо: залитый весенним солнцем черный эшафот, гордое лицо красавца, длинное черное одеяние, презрением и отвагой горят глаза. Других мальчик не видел. Женская суть еще не искушала его, образ таинственной террористки скользнул в мальчишеском сознании бледной тенью, не зацепив ни одной сердечной струны. Он оставался ребенком. Женщина была ему неинтересна, о юноше он забыл. Но черный рыцарь на эшафоте завладел его воображением.

Мальчик двинулся на ощупь, слишком часто он играл в этих переходах в жмурки, чтобы встретить затруднения на пути. Он добрался до детской, толкнул дверь, с порога расслышал ровное дыхание брата, постоял, приглядываясь к полутьме, как обычно в углу теплилась лампада, потом шагнул в комнату, плотно затворил дверь. Он разбудил братишку, тот было испугался спросонья, вскрикнул, но услышав голос старшего брата, успокоился; брат тормозил его, велел вставать. Младший, позевывая, вылез из-под одеяла, спустил ноги на пол, поднялся во весь рост, сладко потягиваясь. Теплый, заспанный, кудрявый, в длинной ночной рубашке он представлял умирительную картину, но в разгоряченном уме брата длинная до пола сорочка малыша уподобилась белому савану и дала новый толчок мрачной фантазии. Мальчики зажгли лампу. Старший брат заговорил.

Младший сначала слушал рассеянно, сонно тер глаза, но чем дальше, тем больше подчинялся воодушевлению брата; казалось, тот читает вслух какую-то увлекательную книгу, леденящую кровь главу романтической повести. Рассказ захватывал, возбуждал, возбуждение требовало выхода.

Более деятельный и прямолинейный младший брат тут же предложил приспособить стул под позорную колесницу. Старший

с негодованием отверг пошлую идею. В его сознании позорная колесница (само звучание этих слов приводило в трепет) представляла в каких-то фантастических образах; его романтический отвлеченный ум легко усваивал символы; колесница было отведено место в ряду героических понятий — колесница Александра Великого, колесницы персидских царей, египетских фараонов, но позорная колесница не поддавалась предметному воплощению.

Пылкое воображение мальчика было равнодушно к страшным эффектам и вообще тяготело к театральности. Ему врезалась в память одна деталь в рассказе столичного господина: черная доска на груди смертника и надпись, выведенная на ней белыми буквами. Но ничего черного не было под рукой, не было и белой краски, даже мелка у них не было. Мальчик чуть не заплакал от досады и разочарования. Практичный ум младшего брата нашел выход — на белом листе бумаги черным карандашом они начертали крупными буквами: цареубийца. В верхних углах листа проделали дырочки, проделали в них бечевку, обрывок ее нашелся среди полезного хлама, что потихоньку мальчики стаскивали со всего дома к себе в детскую. Концы бечевки связали, теперь, надев бечевку на шею, можно было приладить на груди роковую надпись. Из двух стульев соорудили эшафот; к большому огорчению старшего брата пришлось отказаться от позорных столбов; его гордую душу уязвляло убожество совершаемого ими обряда, но приходилось приноравливаться к обстоятельству. Младший углядел крюк в стене, когда-то на нем висела картина, морской пейзаж, марина, как любил говорить отец, потом картина куда-то пропала, а крюк остался. В отличие от брата с его мечтаниями, с его увлечениями формой и игрой младший мальчик был практиком, он спешил на деле реализовать новую идею. Вся загвоздка была в веревке: где раздобыть длинную, достаточно прочную веревку, хотя бы бельевую. Пошарить на кухне? От этой первой мысли пришлось сразу отказаться. На кухне водворилась новая кухарка, суровая старуха, богомолка, с подозрительным и пронзительным взглядом, от нее лучше было держаться подальше. Чулан был заперт, чердак недоступен, туда невозможно было пробраться незаметно мимо кухни, мимо нянькиной комнатки. Довериться няньке мальчики тоже не решились, та пристанет с расспросами: что да почему. Чутье подсказывало братьям, что в этом деле не нужны свидетели.

Младший снова нашелся. Он вспомнил о полотенцах, что висели возле умывальника за ширмой. Полотенца были новые, плотного полотна. Мальчики крепко связали их, узел попробовали на разрыв, изо всех сил потянули за концы в разные стороны, довольные результатом, свернули полотенца жгутом. Старший мальчик влез на импровизированный помост, его составили два сдвинутых стула, туда же забрался младший брат с полотенцем в руках. Он попытался завязать на конце полотенца петлю, оказалось, на это тоже надо умение, дело не спорилось, брат стал нервничать, торопить его. Тогда великий практик обвил конец полотенца вокруг шеи брата и сие подобие жесткого воротничка закрепил сзади, пониже затылка, двойным узлом. Брат поводит головой, поморщился, но ничего не сказал. Чтобы добраться до крюка в стене, пришлось на стул взгромоздить табурет, младший мальчик вскарабкался на него, не выпуская из рук длинный конец полотенца, и, дотянувшись до крюка, привязал к нему полотенце. Потом спрыгнул на пол, убрал со стула табурет.

Старший брат выпрямился во весь свой небольшой рост, широко открытыми глазами он уставился прямо перед собой, он представлял себе залитый весенним солнцем эшафот и себя, в гордом презрении вознесенным над толпой, лицо его пылало, грудь распирало от неведомого прежде чувства торжества: он бросал вызов, он был героем, из горла рвался ликующий крик.

И тут брат ловко выдернул стул у него из-под ног, отбросив в сторону и вторую составную часть самодельного эшафота.

Мальчик рванулся всем телом вниз, полотенце натянулось,

затрепало, но выдержало, детское тело повисло в воздухе. Маленький палач хихикнул, так брат нелепо задрывал ногами, заплясал, как дергунчик. Но смех замер на детских губах. Брат бился в петле, хрипел, ударялся о стену пятками, телом, цеплялся за нее руками, пальцы беспомощно скользили по стене, срывались. Все это было так жутко, так жалко, уродливо; в дергающемся в дикой пляске петрушке малыш не узнавал брата. Было невыносимо смотреть на него, хотелось забиться в темный угол, заткнуть уши, чтобы не слышать его хрипа. На глазах мальчика происходило что-то мерзкое, подлое, гадкое до тошноты. И в самом деле его замутило. Нет мочи терпеть это. Он не находил да и не искал слов. Другой ребенок на его месте, наверное, просто сбежал бы с испугу, но активная натура младшего брата привыкла действовать. Он поднял опрокинутый стул, подтащил его ближе к страшному дергуну и сунул ему под ноги.

Почувствовав опору, несчастный висельник встал на нее, но не выпрямился, его клонило вбок, он как-то осел, полотенце удерживало его стоймя, держало, как на привязи, давило шею. Мальчик вцепился руками в ненавистный ошейник в тщетном желании сорвать его и снова захрипел.

Младший брат не выдержал и громко заплакал. От пережитого страха, от своего бессилия. Он совсем отупел и не мог ничего придумать, плакал все громче, все отчаяннее.

В детскую вбежала нянька Аграфена, ойкнула, всплеснула руками, окинула внимательным взглядом нелепую фигуру на стуле и, к ужасу младшего мальчика, выскочила за дверь. Малыш, зажав ладонями уши, в изнеможении упал на пол. Страшный хрип парализовал его волю.

Но вернулась Груня с большими портняжными ножницами. Она схватила табурет, поставила его рядом со стулом, на котором корчился ее любимец, влезла на табурет, ножницами перерезала полотенце пониже крюка и приняла на руки легкое детское тело, прижала его к себе. Так они постояли некоторое время на шатком постаменте, приходя в себя. Потом нянька подхватила дитя и на руках снесла с дурацкого помоста; усадила бедолагу на стуле. Где ногтями, где ножницами принялась распутывать, растягивать, разрывать узел на шее. На груди мальчика все еще болтался бумажный лист с карандашной надписью. В сердцах Груня сорвала его, бросила на стол.

— Вот скажу папеньке, — пригрозила она.

Младший брат отбежал в угол и оттуда настороженно следил за действиями няньки.

— Скажу папеньке, — приговаривала она.

Наконец мальчик был избавлен от удавки. Он откинул голову назад и застонал, поднял руки, обхватил сзади шею и беззвучно заплакал.

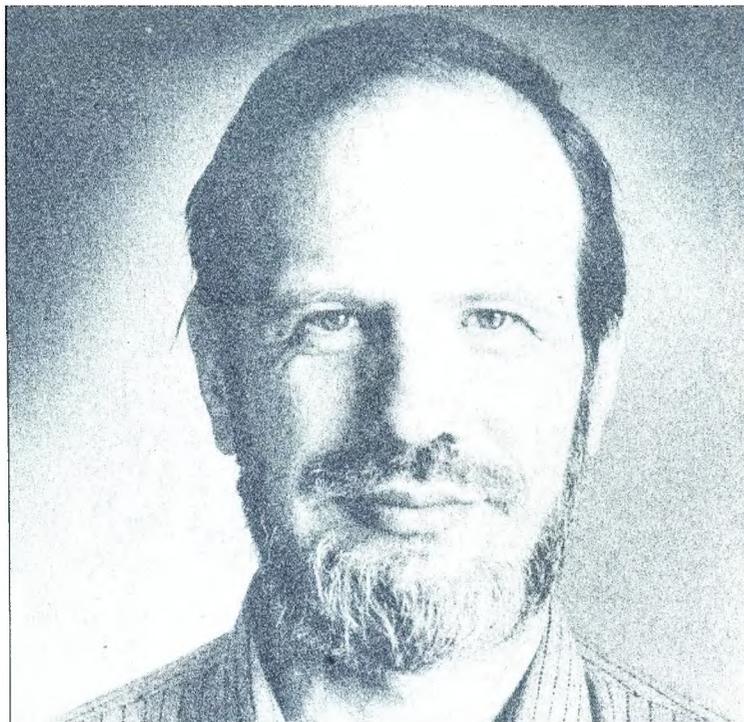
Младший мальчик вышел из своего угла, робко приблизился к брату, опустился на коврик у его ног, обнял его колени, прижался к ним головой и тоже расплакался, несмело, тихо, всхлипывая и поскуливая.

Нянька жалостливо взглянула на них и покачала головой. На глаза ей попала злосчастная бумажка с начертанным на ней нетвердой детской рукой приговором: цареубийца. Груня углядела знакомую букву А и довольно закивала, буква повторялась дважды; но прочитать слово нянька не могла, не знала грамоты. И не поняла всей подоплеку происшествия, не догадалась о мрачных тайнах роковой мистерии.

Не было больше ни героя, ни палача, только плакали в детской, прижавшись друг к другу, испуганные дети.

— Ладно, — успокоила их нянька, — никому не скажу.

Москва



Константин Кедров

НЕВЕСТА

Невеста лохматая светом
невесомые лестницы скачут
она плавную дрожь удочеряет
она петли дверные вяжет
стругает свое отраженье
голос сорванный с древа
держит горлом вкушает
либо белую плаху глотает
на червивом батуте пляшет
ширеет ширмой мерцает медом
под бедром топора ночного
она пальчики человекит
рубит скорбную скрипку
тонет в дыре деревянной.
Саркофаг щебечущий вихрем
хор бедреющий саркофагом
дивным ладаном захлебнется
голодающий жернов 8

перемальвающий храмы.
Что ты дочь обнаженная
или ты ничья?
Или звеня сосками месит сирень
турбобур непролазного света?
В холеный футляр двоебедрой секиры
можно владывать только себя.

* * *

Чертеж чертей твоя любовь
в нем для меня гарем пустот
а для тебя из монстров шлейф
парад духовных горбунов
Ты их приветствуешь как вождь
на смерть въезжающий в парад

а я лежу в гробу как вождь
которого несут вперед
ногами задом наперед
Я превращаюсь в не себя
а в бесконечную икру
которая лежит в гробу
для вечных икр и смертных рыб
Я даже не миссионер
несущий папуасам свет
а полумертвый людоед
которого глодают все
кому не лень глотать любовь
Как выкройка для сапога
распластан я на два пласта
один натянут на тебя
другой распялен в крест ландкарт
и тиражирован в метро
как схема всех путей сквозь тьму

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

В ЭТОМ ГОДУ ВЫПУСТИТ В СВЕТ

книгу АЛЕКСАНДРА ГЛЕЗЕРА

"СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО"

(ОТ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ).

Объем – 530 стр., твердый переплет с суперобложкой, на русском, французском и английском языках.
Двести цветных и семьдесят черно-белых репродукций.

Организации и частные лица могут присылать заказы на книгу по адресу:
123060, Москва, ул. Маршала Вершинина, 3, корп. 1, кв. 91.



Евгений Шкловский

ЗАЛОЖНИКИ

РАССКАЗ

Не совсем было ясно, как же об этом рассказывать. От "я" означало бы полностью, пусть и ненадолго отождествить себя с героем, а следовательно, и с ситуацией, с тем, что произошло, и тем самым приоткрыть шлюз в собственную жизнь, куда бы могло проникнуть, перетечь, не сразу, так когда-нибудь, — вечный страх напорочить, ощущение глубинной связи между рассказанным и собственным существованием, где в конце концов так или иначе сбывается. Может быть, это и есть — расплата? Жертва? И надо ли тогда? Главное — для чего?..

Но, с другой стороны, я — это и был он, когда случилась авария на Волгоградском, — в тот момент возникло впервые ощущение раздельности, совершенно необременительное, даже можно сказать, приятное, поскольку не было боли, а только — спокойствие и отрешенность. И все, что творилось внизу, именно внизу, как будто душа действительно отлетела /болевым шок? стресс?/, почему-то вовсе не казалось таким уж страшным. Хотя зрелище, что говорить, было малопривлекательное: сплюснутая, словно съезжившаяся "Волга" желтого, типично таксичного цвета, и нос к носу с ней, чуть наискось, огромный "МАЗ", в последний момент пытавшийся, видимо, вывернуть или его просто занесло — впрочем, это уже не имело значения.

Внутрь "Волги" лучше было не заглядывать, и хотя, как уже было сказано, сверху смотреть было спокойно, и покореженный металл ничего не заслонял, а был прозрачен, как стекло, описание все-таки лучше опустить. Не касаться.

Уже написав последнее слово, вот это самое "не касаться", я вдруг вспомнил Фому неверующего, пожелавшего вложить персты, чтобы удостовериться — потенциально одно из самых натуралистических мест в Евангелии. Может, именно такая неумная

страсть человека во что бы то ни стало удостовериться, пусть даже не буквально, а только метафорически — вложить персты, это безумное человеческое любопытство и ведет...

Наверное, в момент столкновения я потерял от боли сознание /перелом был сложный, ногу, как мне было сказано, собирали по кусочкам/, так что информация поступала ко мне по каким-то иным, неведомым каналам — я все видел и слышал, будто сверху, а на самом деле — со всех сторон, странное всеобъемлющее и всепроникающее присутствие.

То, что в критических ситуациях душа иногда отходит, отлетает и оттуда видит, особенно часто в минуты клинической смерти, — об этом я читал, в частности, у Моуди, Ника приносила западное, аккуратное издание — небольшого формата, пухлая книжница с непривычно белой бумагой и столь же непривычно четкой полиграфией, мне она тоже перепала — на одну ночь, утром Ника должна была обязательно отнести ее на работу и вернуть. Впрочем, и беглого чтения было достаточно.

Удивительным было другое — я предчувствовал аварию. Да что предчувствовал! Я почти точно знал, до деталей: "МАЗ", выскочивший неожиданно на встречную полосу, мертвый шофер; потерявший сознание /и уже как бы тоже неживой/ Реутовский, крики, стоны /в том числе и мои собственные/, вой sireны "скорой" — как в кинокартине.

Наверно, знал — все-таки слишком сильно сказано, это потом казалось, что знал, но что-то подобное действительно носилось перед глазами. Вернее, пронеслось, когда ловили такси, — Реутовский вышел на проезжую часть и махал рукой, кто бы ни проезжал — частник, грузовик или такси с пассажирами, он даже автобусы пытался останавливать, так ему не терпелось, а мы с

Виталием стояли немного поодаль и тоже голосовали, хотя одного Реутовского с его энергией вполне было достаточно.

Трудно вспомнить, в какой конкретно момент пронеслось — может, еще до такси, до этого самого, желтого, когда подрулил красенный "Жигуленок", но тут же и снова тронулся, а водитель нетерпеливо качнул головой — отрицательно, даже с неудовольствием, и Реутовский еще дрыгнул ему вслед ногой: мол, мотай отсюда, — рассердившись...

Но скорее всего, когда именно то, желтое, с зеленым огоньком, как положено, — что-то еще толкнуло внутри, и уже тогда вдруг увиделось словно со стороны или сверху — как они садятся и Реутовский поворачивает довольное лицо к шоферу: ну что, шеф, поехали, — неунывающий Славик, который уже не помнил, что минуту назад крыл всех водил скопом, особенно, разумеется, таксистов, он почти торжествовал исполнение, он радовался минуте... Эх, если бы он мог подумать! Так ведь и никто не думал и не думает, иначе с места побоишься сойти, — и только во мне вдруг промелькнула /только ли?!/ внезапная странная отдаленность с еще чем-то туманно-жутковатым, как в зеркалах во время гадания, в конце длинного, бесконечного коридора, то ли есть, то ли нет.

Ника возникла в палате на следующий день, ни свет, ни заря, облаченная в белоснежный халат, незнакомая, прохладная, чистая — утренняя.

Как она прошла? Да так вот и прошла, помогли, халат дали, только гише, чтобы никто ничего... А вообще ей кажется, — наклонилась низко к его лицу, так что стали различимы крупинки туши у основания ресниц, неожиданно длинных, ажурной черной сеточкой то затенявших, то приоткрывавших два зеленых озера, — ей кажется, что теперь ей никто не может помешать, ты понимаешь? Она даже тут, еще не поинтересовавшись, как он себя чувствует, сразу за свое, тайное, которое у него уже было в печенках, он начинал задыхаться — и теперь откачнулся неприязненно, насколько позволяла подвешенная нога, мгновенно занывшая, боль, он знал, была еще впереди, а сейчас просто казалось, что из нее вытягивают сразу все жилочки, много-много, еще заморозка не отошла.

Ника выпрямилась.

Борис, как это произошло? /Он поморщился/. Ну, хотя бы в самых общих чертах, ей очень нужно, она ведь предчувствовала, нет, правда, почему он отворачивается, она страшно разнервничалась, когда они ушли, хотела даже побежать вслед, но, понятно, уже было поздно, она бы их все равно не догнала, да они бы ее все равно не послушались — что она могла им сказать? Но она точно предчувствовала, еще когда Реутовский позвонил, накануне, — голос ее напрягся, стоило ей произнести фамилию Славика, она должна была знать, что все, Реутовского больше нет, не спасли его, не успели, не удержали!

— Ты меня слышишь?

Он слышал.

— А ты, ты ничего не чувствовал? — гнула она свое. — Неужели совсем-совсем ничего?

А он в который раз удивлялся, как странно, глубоко темнеют ее внимательные зеленые глаза, словно теряя свой естественный цвет, словно западая куда-то, откуда смотрят на него уже совсем по-другому. Его же этот взгляд ее, из глубины, повергал в непонятное беспокойство. Вопрос ее был абсолютным неуместен: чувствовал он или не чувствовал, — какое это теперь имело значение, после всего? Эти Никины игры...

Однако почему она спрашивала? На всякий случай, как требовала этого ее игра? Или все-таки — пронизательность, ее, Никина, замечательная интуиция, которую она всячески пыталась развивать, втягивая и его, — что ни говори, а она попала в точку. И это ее предчувствие, появившееся у нее раньше, чем у него, — все странно увязывалось в одно.

Да, она втягивала, вовлекала его в свою игру, как он ни сопротивлялся. Впрочем, сопротивлялся — слишком сильно сказано, — просто проявил индифферентность: ему не нужно, а ей, если нравится, то и ради Бога; как говорится: чем бы дитя не тешилось... Не то что бы он был таким уж ярлым скептиком и материалистом, а — не до того было, забот и без того хватало, чтобы лезть еще и во всякое неведомое, оккультное, как кругло произносила Ника, с раздражающим привкусом претенциозности, чего-то очень искусственного, вышендренного... К тому же и эта земная, обычная, вся рядом, осязаемая всеми пятью органами чувств реальность давала столько, что, умей они это переварить по-настоящему, воспринимай ее в полную силу и в полном объеме, жизнь стала бы куда насыщенной. Они просто не умели.

Нике же было мало, ей требовалось больше. Она спрашивала: неужели ты не чувствуешь? — и многозначительно замолкала, глядя на него зелеными, темнеющими глазами, не моргая, из неведомого пространства. Призывая его прислушаться, погрузиться. А его охватывала тревога и потом... раздражение, словно что-то липкое, клейкое, вязкое прикасалось, обволакивающее, приторное, от чего хотелось освободиться, стряхнуть, совлечь с себя, вздохнуть полной грудью.

Нику же тянуло дальше, вглубь.

Начиналось-то с элементарного, расхожего — со спиритических сеансов у подруги, куда она звала и Бориса, но он был стоек, так ни разу и не поддался — настоялко ему было не по душе все это заигрывание с духами, а еще больше — духота в комнате, зашторенные окна, многозначительные переглядывания-подмигивания, прикосновения руками-ногами, напряженно-истерические голоса, бледные лица, имитирующие духовность, — нет, нечего ему там было делать — точно!

Но это было поначалу. Дальше уже серьезнее — журналы, вырезки из газет, книги, машинописные, мятые-перемятые, с отпечатками многих пальцев тексты, — все это штудировалось тщательнейшим образом — с выписками, с конспектами, а иногда даже перепечатывалось или переписывалось от руки, складывалось в папки, сортировалось по многу раз, и сколько раз он заставлял Нику кружащей над разложенными на кровати, на столе, на полу материалами, словно она хотела вобрать их все внутрь себя, впитать, растворить в себе.

То, впрочем, была подготовка, теория, робкие, нерешительные, колеблющиеся подступы к практике: йога, промывание чакры, медитации, трансцендентальные и прочие, контакт с космосом, телепатия, гипноз, полтергейст, астрология... Еще шаг, шутил, и она займется алхимией, что, вполне возможно, было не так уж неправдоподобно. Она теперь знала все о своем и его гороскопе, сама пыталась вычислять положение планет в тот или иной день, чтобы, говорила, предвидеть и знать, как себя вести, она и его наставляла, требуя, чтоб он подчинялся.

Иногда она протягивала ему руку ладонью вперед — чувствуешь? Ладонь даже на расстоянии была горячей — что правда, то правда, от нее — исходило. Ага, торжествовала Ника, это энергия, которая идет ко мне из космоса, она научилась ее принимать. Ника вскидывала руки над головой, закрывала глаза, и лицо ее становилось радостно-сосредоточенным, — вот эта чakra должна быть обязательно открытой, все чакры должны быть открыты, чтобы осуществлялась связь, а мы все закрыты, закупорены как бутылки, в нас ничему не проникнуть, а потом еще жалуемся, что здоровья нет. Конечно, нет, откуда ему быть? Мы собой не умеем управлять, мы настоящих законов не знаем, которые еще в древности были известны. А все потому, что люди были едины с природой. Мы живем в трехмерном пространстве, — проповедывала, — а про четвертое и пятое даже не ведаем. Но хуже всего, что и не хотим, не желаем. Почему?..

Он тоже задумывался: и впрямь — почему?

Какие-то лекции она посещала, практические занятия, про-

падала вечерами, а потом трудно поднималась утром на работу, невыспавшаяся, двигалась как сомнамбула, натываясь на вещи. Они не совпадали: когда она начинала ему рассказывать, впадая быстро в эйфорию, — третий глаз, аура, выходы в астрал, Каббала, Аркан-Таро и тому подобное, — ему вдруг становилось скучно и сонно, до неуправляемой, обидной зевоты, когда же вдруг он начинал расспрашивать, проявляя подозрительный интерес, она отделивалась, с неохотой, общими фразами, словно загораживаясь от возможных насмешек с его стороны. Надо сказать, не без основания. "Ну и как? Есть результаты?" — в этих вопросах таялось. Не говоря уже о — "И зачем это тебе?"

Однажды она вдруг быстро взглянула на него, блеснув белками, — словно вода выплеснулась. "Ты знаешь, мне иногда кажется, что я — колдунья... Что я слышу и вижу... Правда! У меня получается..."

Что у нее получалось — так и осталось неизвестным. Получалось — и довольно, а прочее его не касалось.

Часто он стал замечать на себе ее взгляд, странный, немного исподлобья, задумчивый, то ли сосредоточенный, то ли какой, раньше у нее такого не было. С темнотой в глубине, даже с мерцанием, как будто там, внутри, вспыхивали искорки, как будто там что-то происходило. Не очень вязался этот ее взгляд с открытостью мягко-округлого, с девичьими ямочками лица, которое он знал и любил. Чужое в нем возникало, тревожащее. Что она видела? И почему так на него смотрела?

Многое в человеке неясно, смутно, но самое таинственное, конечно, взгляд. Глаза. Не случайно в древности их считали окошечком в человеческую душу, а взгляд — ее языком. Ничто, кажется, не связано меньше с человеческой плотью, чем глаза, всегда как бы отдельно живущие на лице, самостоятельной жизнью, пусть даже в них нет того внутреннего света, который способен осветить любое, самое некрасивое. Одухотворить. Придать особый смысл.

Глядя прямо в глаза другому человеку, испытываешь нередко чувство, похожее на чувство падения, как будто заглядываешь в пропасть, до головокружения, до замирания внутри, — глаза как-то связаны с тем, что мы называем бесконечностью. Не своим, разумеется, физическим строением, а как бы независимой от него субстанцией взгляда. Субстанцией духовной, которой тем не менее приписывают вполне материальные качества: взгляд может быть теплым или холодным, мягким или жестким, легким или тяжелым, участливым или равнодушным и так далее. Но всегда в нем присутствует нечто большее, неведомо откуда берущееся, с чем-то недоступным связанное.

Он впервые задумался об этом, когда зацепился о Никин странный взгляд. Споткнувшись о него. Как будто она что-то решила про себя, силилась разрешить некую задачу, связанную именно с ним. Борис спросил: что-нибудь случилось? Почему она на него так смотрит? И даже не был услышан, настолько глубоко она была погружена.

Это-то и встревожило его серьезно, даже чуть-чуть испугало: откуда в ней? Медленно, словно просыпаясь, словно возвращаясь к ближней жизни, овладевала речью: мне кажется... нет, мне показалось!..

Не выговорила.

А он почти обиделся: кому, спрашивается, будет приятно, если на него будут смотреть — как рентгеновскими лучами просвечивать. Крайне неудобное, неприятное чувство — что ты весь, насквозь, как на ладони. Даже в самом смутном, отдаленном, тебе не подвластном. Ощущение раздетости, жуткое, — прилюдной, как иногда бывает во сне.

Он и не помнил, о чем тогда думал, в тот момент, в ту минуту, но жутковатое ощущение собственной прозрачности не просто сбило с толку, но и разозлило — какого, спрашивается, черта?! Что еще за эксперименты на живых людях, тем более что никто, никто

не властен в этом многослойном потоке, который струится через каждого человека, никто не может отвечать за все мысли, приходящие в голову, да и за чувства. Отвечать можно только за действия, за поступки, за то, что овеществилось, стало как бы частью внешнего мира, а то, что внутри, — неподсудное, в нем нет вины, даже если грешное, и вообще кому какое дело!

Следуя за ее взглядом, и сам пытался рассмотреть, но — не видел. Только еще больше тревожился все тем же неудобным, ноющим чувством, какое бывает в сильно ветреную, с всеобщим смятением — ветвей, крыш, облаков — погоду.

Он не понимал, не мог понять, откуда в нем это чувство. Хочется ей — и пусть смотрит. В конце концов, детские игры. К тому же в основе всего в ее увлечении, в Никином, — вполне доброе — причаститься Целому, которое даже понятием космоса не исчерпывалось, а включало в себя много больше, словом не выражимое, — тайным энергиям мира. Ну да, задача была вернуться в это Целое, из которого человек выпал, снова слиться физически и духовно с тайными силами Вселенной. Так он, согласен, приблизительно уяснил, обобщенно, Никины поиски. Человек обитал в среде, но и выпадал из нее. Кругом были ангелы и демоны воды, огня, земли, воздуха, всего-всего, а человек, живя среди этих великий стихий, сам состоял из них, оставался тем не менее вне. Пасынок. Подкидыш. Изгнанник. Изгой. Выкидыш. Океан космической энергии исторг его из себя, выбросив на пустынный, глухой берег. Необходимо было вновь соединиться, обрести, но не шагом назад, а шагом вперед. Свободным духовным творчеством. Новым крещением. Новым синтезом.

Ника искала. По целому часу, а то и больше она могла оставаться в позе лотоса с устремленными на кончик носа или сведенными над переносицей глазами, подолгу стоять на голове или бегать босиком по снегу. И голодала она по-настоящему — сутки /по субботам/, трое, а иногда и дольше.

Больше всего удивляло — ее упорство, прежде как-то незаметное. Терпение, с каким она все это проделывала над собой, словно кто-то, невидимый, вел ее. И она — на его восхищенное: как это тебе удается? — торжественно улыбалась: ей помогают, иначе бы она ни за что не справилась. Но главное, главное — результат, она ведь почти научилась летать, правда, ну не так, конечно, чтобы взмахнуть руками и воспарить, а... как во сне, легко и свободно, словно воздух стал для нее естественной стихией, во время медитации — вдруг она ощущает себя парящей над землей, высоко-высоко, и все внизу маленькое, но такое отчетливое, ясное, словно в другом свете, — фантастическое ощущение! И потом легкость необычайная, душа прямо трепещет, так это замечательно. Но об этом лучше не...

Как-то у Бориса разболелась голова, очень сильно, ночь накануне была плохая, почти бессонная, то ли переработал, то ли очередная магнитная буря, резь в глазах, даже в закрытых, и воздуху катастрофически не хватает, как будто задыхается... И что хуже всего, таблетки не помогали, такая у него злобная была мигрень — ничто ее не брало.

Ника же поднесла к его голове руки и стала ими водить вокруг, вдоль лба, затылка, вдоль висков, как бы оглаживая горячими ладонями, которые предварительно потеряла друг о дружку, накапливая энергию, не обращая внимания на его страдальческо-скептическое выражение. Удивительно, но боль действительно стала медленно утихать, словно вытекала из него, подчиняясь медленным движениям ее рук, показавшихся в те минуты ему очень большими, гораздо больше его головы, — охватывали ее, не касаясь, закрывали.

Так он и уснул, не заметив, и очнулся через несколько часов, без боли, отдохнувший. Трудно было поверить, что это она, Ника. Выходит, она действительно могла, что-то ей уже открылось. Нереально было, но ведь на самом себе испытал, да еще так осязаемо, она его, можно сказать, воскресила — вот как...

Наверно, и он бы тоже мог, почему нет? И у него хватило бы упорства, если... В самом деле, Ника ведь предлагала ему, а он противился, уклонялся, получалось, сам себя обкрадывал. Глупо. Но, с другой стороны, слишком уж много внимания к себе, все эти упражнения и прочее, какая-то чрезмерная забота, изымающая из привычной, пусть достаточно безалаберной, часто торопливо-суетной и пустоватой жизни. Но вместе с тем — плотной, густой, трудно подобрать слово, вполне живой, непредугадываемой, в которой легко забывалось о себе и не требовалось, даже при их страшноватеньком быте, каких-то уж сверхусилий.

Никин же способ жизни требовал иного — прежде всего предельного внимания именно к себе, к своему самочувствию, ко всему неприметному, что происходило внутри, да и вовне, что открывалось только при усилии и напряжении, какими-то специальными средствами, которые тоже требовали.

И когда она так смотрела на него, словно насквозь, словно впервые видела, словно в нем был некий экран, на котором персонально для нее демонстрировался только ей одной доступный фильм, сделанный из него, из Бориса, из того, что он сам в себе не фиксировал, не улавливал, может быть, даже и не ведал — все возможно, он начинал чувствовать себя рыбкой в аквариуме, а ее — в какой-то совсем другой плоскости, измерении другом, если угодно, потому что, находясь рядом, так смотреть нельзя. Как будто она знала про него больше, чем он сам. Но что, собственно, она могла такое знать?

Да, иногда ему казалось, что Ника немного не в себе, — самое пугающее. Как предугадать, что может произойти с человеком, вступающим в неведомую область, нагрузка на психику еще какая, все эти упражнения — без контроля, без учителя, он слышал, что бывают срывы, а грань, по которой они ходят, и без того тонка. Даже Пушкин, казалось бы, куда жизнерадостнее, гармоничнее, светлее, да еще в прошлом, вполне уравновешенном веке, и тот беспокоился: "Не дай мне бог сойти с ума..." Значит, чувствовал близость этой грани, значит, сам касался и потому остерегался. А они, храбрецы /или авантюристы?/, смело совали туда-незая-куда — бери их голыми руками...

Борис хорошо помнил тот случай с однокурсницей, вдруг на семинаре заговорившей вслух куда-то мимо преподавателя, мимо них всех, находившихся в аудитории, словно никого не было, и преподаватель удивленно оглянулся, как если бы кто-то мог стоять у нег за спиной, к кому она и обращалась. Горячо так, словно убеждая в чем-то, говорила, то улыбалась, то вдруг мрачнела, то начинала хохотать, и главное — понятно вроде бы все, на родном языке, а ухватить в общем смысле невозможно, темно, а она к ним поворачивала лицо, как бы приглашая к разговору, и снова к тому, невидимому, за спиной преподавателя. Вот тут-то и возник страх, смешанный с неловкостью, — не знали, что предпринять. Хорошо преподаватель проявил находчивость и продолжил занятие, как будто ничего не произошло, а она продолжала свою беседу в той, своей, параллельной реальности, и остававшиеся до звонка сорок /или сколько?/ минут, целую вечность, они все пребывали в ознобном состоянии жути.

А на следующий день стало известно, что эту девочку отправили в психоневрологическую больницу, что у нее это не первый приступ. Ему запал ее взгляд, отчасти напоминающий Никин, когда она так смотрела, — словно что-то или кого-то видела. Ходил слух, что у однокурсницы расстройство на сексуальной почве: где-то разделась и пошла по улице совершенно без всего, голый, а девочка была тихая, серьезная, училась хорошо, — Борис помнил отчетливо тот ее взгляд, который оттуда, из прошлого больше чем десятилетней давности, достал холодком жути.

Естественно, он волновался за Нику, которую, как она говорила, привлекал "тонкий мир", тонкий, и сама она становилась все тоньше, кожа просвечивала — тонкая голубоватая сеть жилок, и черты лица заострились, отчетливее стали, как будто она осво-

бождалась от плоти, сбрасывала ее с себя.

Ей снились странные сны, про которые она рассказывала еле слышным, самого себя пугающим голосом. Три ночи подряд к ней приходила ослепительно сияющей, неземной красоты женщина в белоснежной одежде, со светящимся белизной цветком в волосах, да, золотистых, изумительное чувство чистоты, такого у нее еще никогда не было, а внизу, под ней, плывущей в сияющем ореоле-облаке, творилось нечто босховское или дюреровское, и цветок окрашивался в багровые тона... Ника поняла этот знак, это предупреждение: необходимо было одолеть безумие, да, всю эту вакханалию плоти, засасывающую подобно болоту, эту гнусную трясину, этот ужас и кошмар, который вблизи не очень заметен, но стоит чуть отстраниться, чуть...

Она лежала рядом, в утреннем полумраке, теплая, но между ними уже струился холодок отчужденности, он невольно чувствовал себя принадлежащим "ужасу и кошмару", которые она собиралась преодолевать, так что от самого себя становилось тошно — рядом с белизной ее сна, ее видения, ее освобождающегося порыва к чистоте. Как-то некстати был он здесь, наяву, разверзаясь как трясина.

Еще был случай, который должен был насторожить, и насторожил, но скорее все-таки был простым совпадением или еще чем-то, объяснимым, но который сам Борис тем не менее объяснить не мог, если, конечно, Ника говорила правду. В этом и суть — правду, а как было проверить?

И повернуть день назад, как кинолентку, не было возможности, даже в памяти, подробно, — суматошный был, много людей, вызовы, совещания, беготня, суета, звонки, пойдй все запомни, а Ника точно назвала время — около полудня, да, часов в двенадцать, где он был и что делал? Можно подумать, он смотрел то и дело на часы, больше ему заняться нечем было. Она может ему сказать. Ну скажи, если хочешь, хотя ему это все безразлично было — устал, а тут Ника со своей ворожкой. Ну... "Ты в это время с женщиной разговаривал, — пристально вглядываясь ему в лицо, многозначительно произнесла она, — темные волосы, прямой, с небольшой горбинкой нос, тонкие губы, — подожди, не мешай, — кажется, родинка на щеке..." И потом: он эту женщину давно знает, даже еще до нее, до Ники, что-то у него с ней связано... Последнее — то ли вопрос, то ли утверждение, но глаза сощурились, глубина из них исчезла. Сейчас Ника была вся здесь.

Он тогда спросил: ты приходила ко мне?

Он мог бы спросить: ты следила за мной? — если бы что-то знал за собой, какую-то вину, но ничего такого не было, кроме — встречи, и пожалуй, действительно около полудня, и женщину, Таю, он знал давно: с ней, как точно заметила Ника, было связано — большой кусок жизни...

Ника отрицательно покачала головой: она не приходила. То есть не приходила в буквальном, физическом смысле. Но она догадалась, она почувствовала... В общем, дальше начиналась мистика, телепатия, колдовство, хиромантия и тому подобное, во что верилось с трудом, то есть даже совсем не верилось, но тогда, значит, Ника все-таки была поблизости, возможно, случайно, а иначе было не объяснить и следовательно...

В самом деле, ведь и Тая возникла неожиданно, вдруг, до этого они уже много лет не виделись и даже по телефону не разговаривали, так что он был удивлен ее звонку, а тем более — желанию сразу же, не откладывая, увидиться, — чтонибудь случилось? — нет, ничего, просто ей захотелось, — она тут же согласилась заехать к нему в контору, в одиннадцать, но появилась только около двенадцати, по своему обыкновению /когда это было! / опоздав. Вдруг ее, как объяснила, потянуло — столько лет прошло, шутка ли! Семья у нее была, он знал, дети, один или двое, и вширь она чуть разделась, пополнила, как бывает, — годы! Да, годы, ничего не поделаешь, у него тоже вон кожа на голове светилась сквозь тщательно расчесанные редкие волосы, хоть он иногда и

кажется себе все тем же мальчишкой...

— Значит, правда? — спросила Ника, и взгляд ее потяжелел.

— Хорошо, ну а дальше? Ну, приходила старая знакомая, тысячу лет не виделись, пробегала неподалеку и решила заглянуть, узнать про жизнь. Ты и описала ее правильно, не знаю, как уж тебе удалось, но дальше-то что? — косвенно улыбнувшись, спросил он в свою очередь, дальним каким-то ощущением как бы проверяя свои границы: где он пропустил? Он снова чувствовал себя подопытным кроликом.

Потом, позже, Ника призналась ему, что снова видела сон, не очень яркий, но вполне осязаемый: он, Борис, идет рядом с некой женщиной или девушкой, по берегу — то ли реки, то ли озера, а может и моря, хотя море она бы непременно узнала: море — нечто особенное; солнце заходит и длинные тени от фигур, — ей вдруг стало грустно-грустно, как давно не было, такое острое чувство потери, да, именно потери... Днем же, около двенадцати, ее вдруг толкнуло внутри, как бывает иногда во сне, после чего просыпаешься с неожиданным сердцебиением, она увидела женское лицо, и дальше все совместилось, то ночное, дало внешнюю резкость, как при настройке бинокля.

Похоже, Ника сама испугалась — настолько властно новое входило в ее, а значит, в их жизнь, и его, Бориса, тоже невольно втягивало, как в некую воронку. Понимаешь, сначала я сама хотела, а теперь нет, мне страшно, ведь совершенно нет никаких преград, она сама себя боится, потому что любая мысль или видение, кажется, могут стать реальностью, через нее, вопреки ей: она ведь не умеет еще контролировать по-настоящему, не научилась.

Она жалась к нему, словно искала защиты — от самой себя. Там страшно, понимаешь? — шептала. — Нет, ты не можешь представить, одно пронизывает другое, крайности сходятся и все со всем связано, там — полная свобода, ты можешь все, как в сказке волшебник, как фея, но это-то и страшно, потому что не знаешь, где грань, где ты видишь и где вызываешь, сознание должно быть абсолютно, стерильно чистым, без всякой примеси, а как определить?.. Кажется, что чисто, а на самом деле...

Борис с тревогой глядел в ее бледное, действительно испуганное лицо: опасения оживали, мучали, прокрадывались из того, давнего воспоминания, мерещился другой голос — в никуда, обнаруживая явное, болезненное сходство, и плечо, узкое, подрагивало под рукой: ну что ты, все обойдется, не надо придавать слишком большого значения, наверняка ты преувеличиваешь, — он почти уверен, что так и есть, просто она заигралась, просто надо остановиться, остановиться, слышишь? Легко сказать, остановиться, она, может, и рада, но — разве это от нее зависит, в ней уже совершилось, теперь она — как медиум, это больше ее... И его. Теперь он тоже вроде как вместе с нею, неотрывно, они вместе — он ведь ее не бросит, нет?..

Потом он часто спрашивал себя, нет, не спрашивал — но в нем возникало легкой оторопью: неужели не случайность — та изувеченная, искореженная желтая "Волга"? Нет, бред, конечно, бред. Никины бредни, чушь собачья, причем тут она? Причем тут это?

С Реутовским у нее, правда, действительно были напряженные отношения, хотя это никак не проявлялось особенно, но Борис чувствовал: недолгобывала Ника Славика, шут его знает почему, что ей в нем не нравилось? И держалась напряженно, когда он к ним приходил, часто совершенно внезапно, вдруг, иногда даже без звонка — а что, собственно? Как в старину, как в студенческие годы — посидеть, выпить бутылочку, повспоминать прошлое, им было что... А помнишь? Ну, еще бы... А ту девочку, высокую, смуглянку, на индианку была похожа, да? С синими глазами. Глаза, правда, сводили с ума. Нет, все-таки замечательное время было, — в Славике разгоралось. Но и понять можно, у них у многих там, в юности, самое лучшее и осталось,

ностальгия! А Реутовский вроде как там все и оставался, жил полубогемно, писал сценарии для научно-популярных фильмов, а заработав, кутил, гулял, ходил по старым приятелям и приятельницам, тормозил, будоражил, — многим это нравилось, все они словно молодели.

Ника же была против. Она не говорила об этом прямо, но Борис знал, что — против. Может, даже не против него самого, Славика, хорошего малого, а просто ей не по душе был стиль его жизни. Или, может, ей не нравилось, что он все время говорил о прошлом, о том времени, где самой Ники не было, она тогда еще не появилась, жила в каком-то другом измерении, они тогда еще не встретились. "Ну, вам нужно поболтать... Зачем вам я?" — и уходила в комнату, отчужденно улыбаясь.

Это сначала. А потом, когда она стала заниматься всеми этими своими делами, призналась: у него аура темная, у Реутовского /кто бы мог подумать?/, а после его визитов у нее какая-то странная усталость, словно из нее силы выкачали, ты знаешь, есть такие люди. Она не понимает, зачем он к ним ходит. Ведь помногу раз об одном и том же, скучно, никакого это не общение. Тебе он приятель, мне никто... В общем что-то туманное, недоброе, раздраженное застарело, — чем он ей не пографил?

Впрочем, какое это имело значение?

В тот же злополучный день Реутовский пригласил их с Никой и Виталия к одной его старой знакомой, которая устраивала масленицу, — вы не представляете, какие она роскошные блины печет, можно целую гору навернуть, да Борис ее, наверно, помнит, она двумя курсами позже их училась, — Борис не очень-то помнил, но это роли не играло — почему нет? В их жизни не так много праздников. Мало! В их жизни очень, просто катастрофически мало праздников!

Но как раз перед выходом возникла неувязка, ни с того ни с сего, неожиданно — Ника внезапно заартачилась: нет и нет, она неважно себя чувствует, и вообще она собиралась сегодня голодать, так что пусть они без нее... Как ни уговаривали, ни уламывали, особенно Славик старался, — напрасно. Ника была тверда.

Напоследок, в самых дверях /Реутовский уже вышел/ Борис, обидевшись, проворчал сердито: зря она так, могла бы и пойти, ничего бы с ней не случилось, зачем другим настроение портить? Непонятные капризы... И дверь хлопнул, заглушая Никино упорствующее молчание.

Теперь она сидела возле его постели, Виталия определили в какую-то другую палату, а Славика Реутовского и водителя такси уже не было на этой грешной земле, их нигде не было... Лицо у Ники — бледное, без грима, помятое лицо сильно уставшего человека, но — живая и невредимая. Больное лицо. Измученное. Конечно, еще бы, она переволновалась за него, эта авария, и Реутовский, трудно поверить... Такое несчастье! Она закрывает лицо руками, плечи ее вздрагивают. Как это все ужасно, ужасно, ужасно!..

Сейчас он чувствовал отчетливо, вместе с ноющей, все сильнее и сильнее, болью в ноге, свою твердую непреложную отдельность от Ники, твердую границу между собой и ей, словно его заново вылепили, словно к нему вернулась его непроницаемость. Нет, пусть она поступает как знает, а с него взятки гладки, ничего у нее с ним не получится, ничего он не чувствовал, не помнит, не ведает, и не надо ничего говорить! Вообще ничего не нужно, да, не нужно, пусть она оставит его в покое, пусть...

Москва



Илья Сельвинский

ГАРАЛЬД И КРИСТИНА

РОМАН

Глава I

Отец Гаральда, Ульф Педерзен, имел в датском кооперативном обществе двадцать два голоса. Это значило, что у него двадцать две коровы. У Гаральда же один-единственный голос — глуховатый баритон, который просто немел, когда сталкивался с голосами родителей.

Мать Гаральда — Магдалина Педерзен, как и всякая мать, нежно любила своего сына, но, как и все датчане, была очень скупой.

— Зачем Гаральду карманные деньги? — рассуждала она. — Кино? Зачем Гаральду кино? Я же в кино не хожу. И вообще: у Гаральда есть все, что нужно человеку — дом, стол, одежда и велосипед. А когда-нибудь я женю его на девушке из хорошей семьи. Я даже знаю на ком.

Гаральд тоже знал на ком. И хотя он не был влюблен в Ингрид, но отец ее имел сорок голосов и до русской революции был поставщиком двора российского императора. Августейшая мать Николая II, Мария Федоровна, по национальности датчанка, оказалась на всю жизнь горячо привязанной к Дании и употребляла в пищу только датское масло, за что ей в Копенгагене поставили памятник. А масло ежедневно отправлял в Санкт-Петербург старик Боргстрём. Во всяком случае Ингрид Боргстрём — хорошая партия, и мать Гаральда делала все, чтобы приблизить сына к этой девушке. Достаточно сказать, что она велела Гаральду поступить на славянское отделение филологического факультета, хотя ей, Магдалине Педерзен, оно

совершенно ни к чему /она-то ведь не собиралась жениться на Ингрид/, но Ингрид училась именно на этом отделении — и этого вполне достаточно. Больше того: Ингрид в университете изучала русский язык. Зачем? Старик Боргстрём верил в реставрацию и хотел, чтобы наследница его была наготове: за отсутствием сыновей он воспитывал Ингрид, как юношу. Разумеется, Магдалина Педерзен велела Гаральду тоже заняться русским языком: сорок коров стоят даже языка папуасов. Но нравился ли девушке Гаральд? Она делала вид, будто абсолютно равнодушна к нему, но когда они начинали друг с другом разговаривать по-русски, душа Магдалины Педерзен вся озарялась надеждой. А сегодня Ингрид сделала к сближению довольно крупный шаг.

Накануне в гавань пришел советский ледокол "Челюскин", который собирался в Арктику, чтобы пройти в одну навигацию Северо-Восточный путь. До сих пор это никому не удавалось. Даже Амундсен с его шхуной "Мод" вынужден был дважды зимовать во льдах Ледовитого океана прежде, чем выбрался на чистую воду. Предстоящий поход глубоко взволновал Копенгаген. О нем говорили все. Газеты ежедневно печатали информации, интервью, очерки. К тому же посол СССР господин Кобецкий устраивал в честь экспедиции прием, на который приглашались лучшие люди Дании.

Среди лучших оказался и отец Ингрид, но старик прихворнул и передал приглашение дочери. Дочке очень хотелось побывать на этом приеме /она никогда не бывала на приемах/, но одной явиться в посольство неприлично, и она пригласила Гаральда. Почему

именно Гаральда? Должно быть, потому, что Гаральд говорил по-русски.

- Но ведь приглашение одно, а нас двое, – возразил Гаральд.
- Ну и что?
- Да неудобно как-то.
- Глупости. С этими советскими все удобно. Но если я тебя шокирую...

– Что ты, что ты... У меня и в мыслях не было.

– Ты пойми одно: там будут говорить по-русски. Где еще получишь такую практику? И потом черная икра... Непременно будет черная икра.

– Хорошо. Пойдем. Ты увидишь, как меня вытолкают в шею.

Гаральда, конечно, в шею не вытолкали, и вот Ингрид и он стоят у накрытого стола и закусывают a-la fourchette. Икра действительно была черным-черна, что же касается языка, то здесь звучали датский, немецкий и французский. Не слышно было только русского.

Ингрид положила на тарелочку два бутерброда с икрой, ломтик лимона и один бутерброд с лососиной. Гаральд сделал то же самое, и они, отойдя от стола, начали прислушиваться к беседам гостей.

Прежде всего Ингрид увидела знаменитого физика Нильса Бора. Старик разговаривал по-немецки с высоким мужчиной лет сорока. Мужчина носил огромную бороду. Особенно поразили Ингрид его глаза: совершенно белые с голубинкой.

– Узнай у кого-нибудь, кто это?

Гаральд послушно отошел со своей тарелочкой в сторону, но вскоре вернулся.

– Это начальник экспедиции на "Челюскине", профессор математики Отто Шмидт.

Ингрид загляделась на профессора, а Гаральд увидел рядом с собой молодого атлета в роговых очках, который дружелюбно смотрел на Ингрид. Он тоже держал в руках тарелочку и ел салат из крабов. Наконец, приблизился к девушке и спросил:

– Parlez vous Francais?

– Нет. Но я говорю по русскому языку.

– На русском языке, – подсказал Гаральд.

– Не поправляйте ее, – попросил атлет. – Русские очень любят, когда женские уста чуть-чуть коверкают их язык. У иностранок это прелестно получается. Как у детей.

Он снова обратился к Ингрид.

– Вас, кажется, зовут Ингрид?

– Да.

– Какое поэтическое имя! Обязательно включу его в свою будущую поэму.

– Вы есть поэт? – разочарованно протянула Ингрид. – А я думала инженер или в плохом случае боксер.

– Почему?

– Вы так солидный.

– Ничего не могу сказать в свое оправдание.

– Я не понимаю, как взрослый человек может заниматься писать стихи?

– Вы отрицаете поэзию?

– Когда она есть на факте, я не имею закон ее отрицать. Но я не обладаю видеть смысл в этом явлении культуры. Поэзия это как хвостик от слепой кишки: она есть, но ее совсем не нужно.

– Вам не нужно?

– Я, кажется, оскорбить ваша профессия? Извините.

– Поэзия не профессия.

– А что?

– Это пафос высокого переживания, за который почему-то платят деньги.

– Много денег?

– Иногда много.

– О! Теперь я могу понимать, какая причина, что взрослые люди позволяют себе писать стихи.

Поэт смотрел на нее с любознательным, даже с научным ин-

тересом. Такого он никогда не слышал от молодых девушек. Впрочем, он знал только Россию.

– Вы студентка?

– О да.

– Наверное медик?

– О нет.

– Юрист?

– Нет, нет.

– Неужели филолог?

– О да.

– Странно.

– Зачем странно?

– При таком отношении к поэзии – что вам делать на филологическом?

– А что же вы мне можете советовать?

– Выйти замуж.

– Ну, милый! Ты настоящий русский медведь!

Атлет оглянулся: тучный седоватый блондин подошел к ним с тарелочкой, на которой аппетитно розовел холодный телячий нарез. – Разве можно так разговаривать с девушками, каковые даже и не мыслят о замужестве?

– Ты только послушай, что она говорит.

– Она говорит дело. Величие Дании в том, что на добрую четверть она кооперирована. Здесь процветает философия натуралистического натурализма. А поэзия... Поговорим о ней в Москве или в Париже. Там еще занимаются этими глупостями.

Дальше Гаральд не слушал. Он был очень огорчен.

– Чем ты расстроен? – спросила Ингрид на улице.

– Твоей беседой с поэтом.

– Я сказала то, что думала.

– Неужели ты действительно так думаешь?

– Да. Действительно думаю так.

– Ты можешь думать, как хочешь, но упрекать поэта в том, что он пишет стихи – это, извини меня, большая бестактность, чтобы не сказать больше.

– А что больше? Что я глупа?

– Этого я не сказал.

– Но подумал? Ну что ж, думай, как тебе угодно. Но не забудь, что этот седой меня поддержал.

– Поддержал? Да он издевался над нами!

Ингрид вздрогнула и быстро взглянула на Гаральда. Гаральд покраснел, как будто это он совершил бестактность по отношению к русским.

– Икра и лососина только разожгли во мне аппетит – сказала Ингрид, стараясь не глядеть на Гаральда, – до обеда еще далеко. Пойдем куда-нибудь, выпьем горячего кофе с пирожками.

Ближе всего находился главный парк столицы – "Тиволи". Ингрид и Гаральд направились к нему. В небольшом пруду парка, погруженная в думы, стояла та знаменитая шхуна "мод", на которой Амундсен пытался завоевать Северо-Восточный проход Ледовитого океана. Теперь корабль превращен в кафе. На палубе отливали молочным блеском мраморные столики. На каждом цветы. Народу, как всегда, много, но Гаральду повезло: ему удалось раздобыть два свободных места.

– Интересно: что сейчас переживает эта шхуна? Наверное вспоминает латинскую поговорку: sic transit gloria mundi.

– Больше ничто тебя не интересует? – небрежно спросила Ингрид.

– А тебя не волнует судьба этого корабля? Ведь она похожа на человеческую: кем был и во что превратился.

– Ты ужасно сентиментален, – с гримаской досады сказала Ингрид. – А чем плоха участь этой шхуны? Вместо того, чтобы рассыпаться на бревна и топить собой печи, она стала самым модным рестораном. Такой судьбе можно позавидовать.

– Как она прозаична, эта девушка, – подумал Гаральд. А

вслух сказал:

- Только бы Бор не вздумал приводить сюда Шмидта.
- Вздумал, Гаральд, вздумал!

Ингрид пришла в такой восторг, что даже сама дотронулась до руки Гаральда.

Действительно: по широкому трапу на шхуну поднималось несколько человек во главе с Бором. При виде их многие вскочили со своих мест и предложили свои стулья.

– Как приятно быть великим человеком в маленькой стране, – сказал Шмидт. – Если бы у нас пришел в кафе академик Павлов, никто бы не догадался уступить ему место.

– Вы думаете, дело во мне? – усмехнулся Бор. – Вы только поглядите, кто за нашей спиной: это мой брат. Он лучший голкипер Дании.

– Боже мой... – тихо сказал Гаральд. – Что подумает о нас Шмидт? Полная романтики шхуна, превращенная в харчевню... И потом этот пиэтет перед футболистом в присутствии великого физика...

- А тебе не все равно, что он о нас подумает?

– Нет. Совсем не все равно. Эти люди вызывают во мне огромное любопытство. Ты понимаешь? Все страны живут как живет, и только одна Россия мечтает. И мечта эта отражается в каждом русском, как отблеск огромного зарева.

– Опять сентименты. Ничего такого я в них не вижу. Люди как люди. Только чудовищно невоспитанные.

- Ну, это смотря кто. Кочегар какой-нибудь, возможно, но о

Шмидте ты этого не скажешь.

– Шмидт это еще не Россия. Россия это кочегары. И вообще я ничего не хочу о ней слышать: она меня не интересует. А ты не прикидывайся красным.

- Никем я не прикидываюсь.

– Прикидываешься. Теперь модно иметь левые убеждения. Но у тебя же их нет! Твои убеждения это твоя мама.

- А твои – твой папа?

– Да. Папа. Я слабая женщина и кто-нибудь из мужчин должен руководить моей философией.

- А у твоего папы есть философия?

– Представь себе! И довольно прочная. Он рассуждает очень здраво. "Коммунизм – говорит папа – это для бедных. Бедные хотят стать богатыми. А мы уже богаты. Зачем же нам коммунизм?" Логично? Эта папина философия также и твоя философия, Гаральд. Вы ведь тоже богаты.

- И тебе не скучно так мыслить?

– Напротив. Очень весело. Я человек практики. Обыкновенная корова дает 3500 литров молока в год. А папины коровы – по 5000 литров. Ну как? Весело об этом думать? А теперь все. Довольно политики, а то еще поссоримся.

Кофе они выпили молча.

*Продолжение следует.
Москва*

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

приступает к выпуску

"БИБЛИОТЕКИ НОВОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ"

В ближайшие месяцы выйдут книги

"ИЗБРАННОЕ"

следующих авторов:

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

Каждый том объемом около 320 стр., в твердом переплете,
печатается тиражом 10000 экз.

Организации и частные лица могут присылать заказы на книги данной серии по адресу:
123060, Москва, ул. Маршала Вершинина, 3, корп. 1, кв. 91.



Василий Аксенов

ЮНОСТЬ БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА

Я, собственно говоря, чуть было не пропустил этот юбилей, едва не прошляпил в американских попытках. Вдруг, как-то вечером звонок из Бостона — с вами говорит такой-то, старый читатель журнала "Юность". Надеюсь, вы не забыли, Василий Павлович, что наша с вами "альма матер" в этом году отмечает свой тридцатилетний юбилей? С прискорбием пришлось признаться — забыл, забыл...

А ведь еще полтора года назад я читал лекцию о журнале "Юность" студентам университета Джорджа Вашингтона в нашей столице.

В университетской библиотеке самых первых номеров, то есть начиная с июньского 1955 года, разумеется, не оказалось. Кто-то посоветовал мне отправиться в Библиотеку Конгресса — там, мол, все есть. (Сомнительно, все-таки, подумалось мне, что Библиотека Американского Конгресса держит в своих хранилищах тридцатилетней давности копии московского молодежного литературного журнала. Поиски в каталогах поначалу только укрепили мои сомнения. Журналов под названием "Youth", то есть "Юность" там оказалось что-то около семидесяти, кажется и в самом деле все, что когда-либо выходило в мире под этим именем, включая даже танзанийское издание, не было только нашего московского бестселлера, что произвел в те отдаленные времена такую сенсацию среди читающей публики прежде всего своими яркими обложками, которые немедленно выделили его из общего числа советских "толстых журналов", напоминающих своими колоритами собрание подержанного нижнего белья.

Консультанты "комнаты европейского чтения" посоветовали мне поискать в каталогах на другую букву, не на Y, а на I: может быть, фигурирует не под английским словом, а под своим собственным и в другой транслитерации. Я сунулся — Ай, Ю, Эн... — и немедленно нашел искомое. Сделал заказ и отправился ждать в главный читальный зал библиотеки, под гигантским куполом которого можно вообразить, что находишься в храме всех человеческих религий.

Ожидание подолжалось не более десяти минут. Появился черный юноша-библиотекарь и положил передо мной две папки первых номеров журнала в великолепном переплете и в безупречном состоянии.

Трудно было поверить своим глазам, читая на обложке дату — июнь 1955 года — и список редколлегии: главный редактор Катаев, заместитель главного редактора Преображенский, ответственный секретарь Железнов, члены редколлегии Горяев, Медынский, Прилежаева, Розов... Вот это и есть та самая стопка сброшюрованной бумаги, что появилась в затхлой атмосфере литературной Москвы будто некая залетная чайка, предвещающая приход новых времен и новых людей? Еще труднее было после тридцати лет сопоставить это издание с чем-то новым, читая стишки, которым открывался этот номер.

Здесь партия наша родная,
А с ней невозможного нет!
Сегодня земля Кустаная,
А завтра далеких планет!

Мне припомнился автор этих стихов, вислоносый поэт, постоянный посетитель кабака Дома литераторов, куда можно было попасть из редакции журнала, попросту перейдя двор бывшего имения графов Волконских. Поэт был колоссальным кирюхой, все время смотрел одним глазом в коньяк, другим на проходящих собратий в поисках собутыльников. В те времена никто бы не высмеял его за приведенные выше стихи: коммунисты тогда не стыдились своих эдиповых комплексов по отношению к матери-партии.

Перелистывая почти не пожелтевшие страницы "Юности" пятидесятих годов (качество бумаги было на удивление великолепным), я, разумеется, задавал себе вопрос: что же все-таки казалось нам, молодым читателям тех времен, столь необычным, столь ярким, столь освежающим в этом вот лежащем сейчас передо мной столь советском, то есть заурядном, то есть неярком, то есть монотонно-душноватом журнале? Стишков, подобных приведенному выше — навалом, передовицы иной раз подписаны светлыми личностями вроде Всеволода Кочетова, в оформлении сплошь и рядом какие-то дикие космические устремления, в отделе публицистики сплошные романтики, энтузиасты, целинные и сибирские "цари-эдипы"...

И все-таки, втяни голову в плечи, втянись, забудь на время, что ты сидишь на Капитолийском холме в Вашингтоне и вспомни свою

студенческую Публичку на реке Фонтанке. Как мы жадно там охотились за малейшими крохами информации о жизни за жел-занавеской, за малейшим словечком не-фальши, за трудно уловимыми намеками на реальную жизнь и реальное искусство вне советской мертвечины.

"Юность" поразила всех хотя бы просто своим дизайном, необычными шрифтами, новым форматом. Вслед за этим она едва ли не буквально распахнула окно в сверкающий и грохочущий мировой океан, сделав одной из самых первых своих ударных публикаций "Путешествие на Кон-Тики" норвежского исследователя Тура Хейердала. В те времена, когда в памяти совсем свежи были дни мракобесной борьбы с так называемым космополитизмом, русский перевод этого путевого дневника, сам факт его публикации и таким образом приобщение к мировой сенсации казались нам едва ли не открытием.

Спустя некоторое время на страницах "Юности" появились записки французского исследователя глубин Кусто. Журнал заявлял себя сторонником всего самого современного, передового, модного, будь то ныряние с аквалангом, кибернетика, фигурное катание, вентилировал затхлую атмосферу советских будней.

С позиций этого своего очень наивного и, конечно, все-таки еще основательно фальшивого "прогрессизма-передовизма", он зачинал всяческого рода тогдашние дискуссии, имея в виду бодряческую комсомольскую сверхзадачу "Серости — бой!". То там насчет губной помады — могут ли девушки ею пользоваться, то там насчет узких брюк — соответствует ли ширина штанин ширине патриотизма, то там насчет молодежных кафе — может ли советская молодежь слушать стихи, сидя в кафе и попивая безалкогольные напитки и кофе, а кофе в те времена был тоже своего рода символом новых, более просвещенных времен.

Живопись в те времена была почему-то самым коварным идеологическим камнем преткновения. Коренную советскую публику почему-то неслыханно возмущали авангардные художества, любой отход от социалистического реализма воспринимался толпой как личная обида: мы, дескать, столько боролись, столько жертв принесли отчизне, а тут такое безобразие, "абстрактнизм". "Юность" осторожно печатала репродукции импрессионистов, слегка вольничала с иллюстрациями, публиковала статьи чуточку неортодоксальных искусствоведов. В коридоре редакции, которая размещалась в помещении бывшей конюшни имения Волконских на бывшей Поварской ныне Воровской, иногда вывешивались эстетически дерзкие полотна.

Весьма любопытно было сейчас, тридцать лет спустя, обозревать некоторые статьи о литературной жизни и о молодежных движениях за рубежом. Иные из них под прикрытием обязательного разоблачения буржуазного образа жизни и раскрытия язв загнивающего Запада давали читателям "Юности" весьма ценную информацию. Удивляет оперативность такой информации. Так, о литературном движении американских битников мы узнали почти сразу же после его зарождения.

Однако не только этим "приоткрыванием форточек" журнал привлекал к себе неслыханный интерес, выразившийся сразу же в колоссальном подъеме тиража со ста пятидесяти тысяч до миллиона. Редакция сразу же поставила перед собой, как одну из основных, задачу поисков новых литературных имен, и эти имена уже в пятидесятые годы стали возникать на его глянцевиных страницах, будоража воображение и надежны. Возникал образ нового послесталинского молодого писателя.

Вот передо мной в тиши библиотеки американского Конгресса появляется не просто молодое, но почти детское, мальчишеское лицо моего старого друга. Повесть "Хроника времен Виктора Подгурского", автору Анатолию Гладилину не исполнилось еще и двадцати одного года. Золотистые и даже довольно густые кудри, милостивые государи, венчают его чело.

Американцы говорят: однажды он проснулся, чтобы стать знаменитостью. Это произошло с Гладилиным. Нерадивый и легко-

мысленный студентик литературного института он в одночасье стал первым знаменитейшим писателем нашего поколения. Такого в советской литературе не случилось уже несколько десятилетий с тех пор как "золотые двадцатые" сменились "чугунными тридцатыми". В Литературном институте Гладилина учили тому, как не стать знаменитым писателем 1956 года. Уроки впрок не пошли, и он им стал.

Открываю наугад "Хронику времен Виктора Подгурского". Герой-мальчик идет с героиней-девочкой по Гоголевскому бульвару. Вот лужа, говорит герой. Спорим, перепрыгну? Никогда не перепрыгнешь, говорит героиня. Он перепрыгивает лужу. Она смотрит на него. Какая замечательная девушка.

Потрясенные молодые читатели смотрят друг на друга — да ведь это же мы сами, такие же, как Виктор, юные и безденежные московские бродяги, провалившиеся в институт и влюбленные. Влюбленный неудачник впервые потеснил плечом розовощеких роботов комсомольского энтузиазма, и это произошло на страницах той самой ранней "Юности".

Я вспоминаю июньский вечер 1960 года. Страшно волнуясь. Новый костюм. С разрезом сзади, судари мои! Накрахмаленная рубашка и галстук-бабочка. Той весной почему-то узенькие галстуки-бабочки вошли по Москве в неслыханную моду. Вдвоем с основательно беременной женой Кирой мы идем по Петровским линиям, направляясь в зал "Балатон" ресторана "Будапешт" на юбилейный бал самого модного и наступательного популярного журнала "Юность".

Юбиляру исполнилось пять лет. Мне, молодому врачу, в этот вечер двадцать семь. Через несколько дней выйдет номер с моим первым романом "Коллеги". Пока я всего лишь автор двух жалких рассказиков, напечатанных в "Юности" в прошлом году. Неужели я увижу сегодня этого знаменитого Гладилина и довольно известного Евтушенко, неужели уж даже и на самого Валентина Катаева удастся бросить взгляд?..

Народу в зале было не меньше трех сотен, все сидели вокруг столов, расположенных буквой "П". Растерянный новичок — как тут не вспомнить все эти "первые балы" Наташи Ростовской и Дины Дурбин — испытывал легкое головокружение в присутствии столь блестящего литературного общества, столь мало напоминавшего коллектив противотуберкулезного диспансера, где он в то время служил. Мелькнуло, наконец, первое и, кажется, единственное знакомое лицо его очаровательной редакторши Мэри Озеровой. Она улыбалась бодряюще и показывала на свободные стулья — приземляйтесь, ребята!

Приземлившись, я стал оглядывать зал в поисках легендарного Гладилина. Увы, найти его не удалось: знаменитый юноша в тот день почему-то отсутствовал. Кстати говоря, за двадцать пять лет, прошедших с того бала, я так и не удосужился спросить своего старого друга, где он был в тот вечер, хотя все время собираюсь. Вместо него возникла перед моими глазами знаменитость, хоть и помельче, но все же основательная, юнец в очках типа университетского отличника Владимир Амлинский, автор нашумевшего рассказа "Станция первой любви". Засим из праздничного калейдоскопа стали вырисовываться другие, знакомые по фотографиям лица авторов — детективщик Аркадий Адамов, свирепый борец против религиозного дурмана Львов, повествователь Лазарь Карелин, комсомольская братия поэтов — Дмитриев Олег, Павлинов, Костров, и вдруг, как живой, на дальнем от меня конце стола определился востроносый Евтушенко. Фигура уже почти на уровне Гладилина! Помнится, меня поразило, как это поэт умудрился так замечательно и шоколадно загореть в самом начале лега. В ходе бала однако кто-то объяснил простаку, что нынче модно стало загорать среди зимы на склонах Эльбруса.

Заиграла джазуха. Полу-мифический почти-Гладилин Евтушенко бросился в дерзновенный рок-н-рол с тоненькой девушкой. А это кто с ним такая? Уж не Ахмадулина ли? Да это же Женька Катаева с нашего курса, сказала моя жена. Эва, брат, сказал нео-

познанный, но основательно уже "накирившийся" сосед, дочка самого босса.

Где же босс? Не верилось, что увижу воочию легендарного творца Пети Бачея и Гаврика, этих черноморских вариантов Тома Сойера и Гекльберли Финна, "главу одесской школы прозы", основателя нашего — после второй рюмки уже с вдохновенной наглостью — нашего, нашего журнала Валентина Петровича Катаева.

Принося ранее в журнал свои опусы, я всякий раз проходил мимо его кабинета с замиранием — а вдруг, мол, выйдет и скажет: гнать таких отсюда! Между тем, именно Катаев первым ткнул своим длинным пальцем в одну мою строчку и сказал: хм, "темные стоячие воды канала были похожи на запыленную крышку рояля", хм, в этом что-то есть, старики!

Это случилось после того, как писатель Владимир Михайлович Померанцев, автор знаменитой статьи "Об искренности в литературе", послал меня с моими рассказами в "Юность" — там ищут новые имена. Через полгода я принес туда пухлую рукопись "Коллег" и отправился в Таллин на офицерские сборы медицинского состава Краснознаменного Балтийского флота, ибо именно к этому подразделению вооруженных сил я и был приписан после окончания института в качестве очень запасного врача какого-то очевидно очень запасного корабля.

Щеголяя по Таллину в обвисшей униформе бэ-у и считая жалкие рубли своего трижды запасного жалования, я уже и думать забыл о своих литературных поползновениях, когда в казарму на берегу Финского залива вдруг пришло письмо в фирменном конверте "Юности" с головокружительно коротким текстом: "Вася, Катаев принял "Коллег" и сказал, что вы в целом молодец. Поздравляю. Озерова."

К моменту моего "первого бала" повесть была уже отредактирована, отправлена в набор, я ждал со дня на день ее выхода, чтобы стать уже настоящим полноправным автором "Юности", но в данный момент, глядя с дальнего конца стола на перекладину буквы "П", где окруженный редколлегией сидел в великолепном темно-синем костюме Катаев, я еще не подозревал, что до моего триумфа осталось всего несколько минут.

И вот эти несколько минут прошли, и в зал внесли стопки только что вышедшего из типографии шестого номера "Юности" за 1960 год. Всем участникам юбилейного торжества роздано было по экземпляру. Открылись синие обложки с фигурками каких-то там водных лыжников (водные лыжи, разумеется, тоже были приметой всего нового-передового), и взгляды всех присутствующих стали выискивать меня, ибо сразу же распространилось, что автор новой сенсационной повести присутствует среди присутствующих.

Триумф, однако, на этом не завершился, он только еще развивался. Вслед за стопками журнала в зал внесли стопки только что вышедшей "Литературной газеты", в которой была уже напечатана рецензия на юбилейную книжку журнала. Раскрыв газету, я увидел заголовок статьи, набранный каким-то, как мне показалось тогда, особым торжествующим шрифтом, — ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. Автор статьи молодой критик Станислав Рассадин (вскоре у нас с ним возник короткий период довольно бурной и довольно пьяной дружбы, сменившийся многолетним периодом прохладного приятельства) писал в основном о "Коллегах" и говорил, что с этой повестью в литературу пришли новые люди, которых он назвал в параллель к событиям прошлого века — "шестидесятниками"...

Вы все-таки закусывайте, сказал мне кто-то из поздравляющих. До закусок ли тут было! Десятилетие только началось, и вдруг оказалось, что уже существуют его представители, и ты среди них не из последних. "Внимание, внимание, — сказал кто-то еще, — к вам направляется сам "Старик Собакин". В смятении чувств я все-таки вспомнил, что именно под этой кличкой Катаев был известен в литературной Москве "золотых двадцатых".

Держа в руке бокал темно-красного вина, Катаев медленно шел прямо ко мне. "Я пью за ваш роман, старик", — сказал он. Грянули

невидимые хоры, протрубили незримые фонфары. Я — приобщенное сочинение, которое я и повестью-то называть стеснялся, назвали "романом", а меня самого "стариком", то есть литературным собранием.

Возвращаясь из "Балатона" в тот вечер, я, кажется, пересчитал боками все водосточные трубы на Петровке, пока не свалился в такси и не крикнул: — Гони, старик, да побыстрее в Шестидесятые!

Прошло уже двадцать пять лет с того вечера, литература стала моей профессией, она принесла мне немало и радостей, и бед, и все-таки я благодарен судьбе за ту непередаваемую эйфорию, за ту неслыханную катавасию моего литературного дебюта, совпавшего с началом единственного за всю советскую историю ренессансного десятилетия, за то внезапное чувство братства, еще не омраченного предательскими, что родилось под претренскими и довольно вздорными флажками журнала "Юность".

В течение шестидесяти лет, то есть до начала периода своей стагнации, в котором она пребывает и поныне, "Юность" пережила несколько кризисов, и первым из основных кризисов оказался уход Катаева. Я до сих пор не знаю подоплеку этих событий начала 1961 года, когда Катаев вдруг сложил с себя полномочия и оставил кабинет в бывших графских конюшнях, где обитал журнал, безусловно одно из основных сочинений его жизни. Кажется, была какая-то ссора с начальством, с руководством Союза писателей. Не исключено, что сыграли тут роль и козни комсомола. ЦК ВЛКСМ с самого начала относился к "Юности" с подозрением и мечтал прибрать ее к своим рукам, то есть сделать ее своим органом. Ражий вождь молодых ленинцев, неудачливый штангист Сергей Павлов доказывал на Старой площади, что все молодежное должно подчиняться единому молодежному центру, то есть его министерству, иначе, мол, там писателишки крамолу разведут. Катаев же с самого начала настаивал, чтобы "Юность" оставалась органом Союза писателей, имея очевидно в виду, что как ни жуток этот союз, а все-таки жутчее организации, чем комсомол, под луной не сыщешь. Как раз в те годы почтенный Катаев и к партии примкнул, чтобы облачиться большим доверием.

Ходили также разговоры о том, что окрыленный успехом своего детища, Катаев стал нацеливаться на кресло редактора "Литературной газеты", и его ему, якобы, обещали, а потом обманули и попросили оставаться в "Юности", и тогда он, взбешенный, ушел и из журнала.

Так или иначе, но уход из "Юности" совпал для Катаева с тяжелой болезнью и операцией, после которой, как известно, начался "новый Катаев" с повестями "Святой колодец", "Трава забвенья" и всей этой чередой ослепительной поздней прозы.

В "Юности" в течение полутора лет царил сравнительное безвластие, возглавляемое, если можно так сказать о безвластии, катаевским замом Сергеем Преображенским, бывшим секретарем писательского генсека Фадеева, типичным московским бонвиваном и большим знатоком коридоров власти на Старой площади. У этого округлого, добродушного и на вид весьма бесхребетного человека кишка оказалась все-таки не тонка для того, чтобы в период своего руководства напечатать в журнале многие из тех произведений, из-за которых впоследствии на "Юность" навешали собак, в том числе, с вашего позволения, и мой "Звездный билет".

Жизнь журнала в то десятилетие фактически состояла в перепадах из одного кризиса в другой. Это-то и делало журнал живым.

В течение 1961 и 1962 годов, когда уже в основном определился круг новых авторов, то есть "шестидесятников", продолжал нарастать кризис отношений журнала с комсомолом. Многие публикации журнала вызвали немедленные яростные атаки со стороны печатных органов ЦК ВЛКСМ, журналов "Молодая гвардия", "Смена", газеты "Комсомольская правда" и других редакционных листков.

Гвоздили всю нашу братию — Евтушенко за "Нигилиста" и за "Бабий Яр", Гладиллина за "Дым в глаза", даже Роберта Рождественского за стихи о дрейфующей льдине, Окуджаву называли "хулиганом с гитарой", Ахмадуллиной доставалось за "эстетизм"... Тут

как раз подоспел претличнейший новый мальчик для битья, мой роман "Звездный билет".

Выход июльского номера со "Звездным билетом" в 1961 году оказался для меня окруженным уникальнейшими, едва ли не "феллиниевскими" обстоятельствами. Дело в том, что к моменту выхода уже на полный ход шли съемки фильма по роману "Звездный билет". Режиссер Александр Зархи, советский классик, одаривший человечество лентой "Депутат Балтики", решил идти в ногу с временем, а то и опередить время, поразить шарик, то есть человечество, население планеты — все советские режиссеры в то время были потрясены Пальмовой ветвью Каннского фестиваля, которую получил их коллега Михаил Калатозов за фильм "Летят журавли" — и сделать сногшибательный фильм о новой советской молодежи. Роман закуплен был прямо на корню, то есть еще в рукописи, киностудией "Мосфильм".

И вот вообразите, милостивые государи: мы ведем съемку на Таллинском пляже, молодой автор окружен персонажами его книги во плоти, то есть актерами Олегом Далем, Сашей Збруевым, Андреем Мироновым и Люсей Марченко, они называют его "папой", говорят фразы из только что написанной книги и ведут себя, надо сказать, полностью в стиле своих персонажей, когда вдруг, и день за днем все больше и больше пляж начинает покрываться желто-оранжевыми корками журнала "Юность" — вышел июльский номер с романом.

Началось несколько призрачное существование. Литература перетекала в кино, чтобы вернуться среди башен Таллина реальностью, чреватой новым романом. В кафе к моим героям подходили читатели. Простите, ребята, но вы очень похожи на героев вот этой новой повести в "Юности". Так это мы и есть, вполне искренне отвечали двадцатилетние актеры.

"Звездный билет" озлобил комсомольцев совершенно гомеорическим образом. Сейчас мне кажется, что эта дико преувеличенная реакция была вызвана прежде всего переменой направления, начальным переводом стрелки компаса, вторжением в разработанную надолго комсомольскую стратегию, связанную с романтикой "дальних дорог".

Всякий раз, когда требовалась рабочая сила где-нибудь в диких краях, на целине ли, в Сибири или на Дальнем Востоке, комсомол и все его печатные органы начинали с ретивостью, достойной лучшего применения, накачивать так называемую "романтику", звать молодежь в необжитые края и, разумеется, к востоку, к востоку... И вот в самый неподходящий момент — а подходящих моментов в советской истории практически не было никогда — на страницах "Юности" появляются молодые герои, которых тянет не на восток, а на запад. Они отправляются бродяжничать на единственный доступный им "советский запад", в маленькое прибалтийский республику, полностью покоренные, но все-таки еще сохранившие некоторые чуждые социалистическому реализму туманности, чуточку проветриваемые ветерками Европы и, отправляясь туда, они не оставляют сомнения, что при возможности пошли бы и дальше на запад — даже страшно и подумать — за священные рубежи родины.

Комсомольские вожди тех лет, и особенно "румяный вождь", как назвал его дерзкий тогда Евтушенко, Сергей Павлов, уподобились твердокаменному римскому сенатору Катону, который, как известно, заканчивал любую свою речь требованием — "а Карфаген должен быть разрушен". Для них Карфагеном был журнал "Юность". В любой аудитории, будь то матросы сельдяного флота или металлурги Магнитки, Павлов требовал расправы со "звездными мальчиками" и — хм, "звездные мальчики для битья", трудно удержаться от такого каламбура — и разрушения Карфагена, сиречь подчинения журнала "Юность" комсомолу.

Осенью 1961 года несколько авторов "Юности", я в том числе, выступали в Тульском педагогическом институте. Подготовленные заранее комсомольские активисты попками один за другим высказывали на трибуну и обвиняли нас в ревизионизме ленинизма и низкопоклонизме перед Западнизмом. Все было учтено организато-

рами этой провокации за исключением чувства юмора. И, напротив, все аргументы так называемых ревизионистов были основаны на этом чувстве. В результате запланированная сверху провокация была сорвана смехом всего зала, активисты оказались посрамлены.

Взбешенный Павлов разразился тогда статьей под заголовком "Растить краснорозовую гвардию". Переврав полностью все факты, он написал в статье, что студенты осмелились авторов "Юности", явившихся на встречу в шутовских западных одеждах, чтобы навязывать молодежи свои "сомнительные и скверные идейки".

Вернувшись из Тулы, мы застали в "Юности" чэ-пэ. Нас могут теперь прикрыть, говорили сотрудники редакции. Надо что-то делать. Что можно было сделать? Естественно, надо было показать партии, то есть пресловутой этой Старой площади, что мы с нашим новым подходом, с лучшим пониманием современной молодежи принесем больше пользы "общему делу", чем замшелые бюрократы.

Там сейчас, говорили некоторые сотрудники редакции, особенно умудренные так называемой "правдистской закалкой" — слово "там" всегда произносилось с определенным придыханием, с закатыванием глаз к потолку и с некоторым экивоком через левое плечо себе за спину — там сейчас есть просвещенные люди.

Одному такому "просвещенному" меня увещевали позвонить. Вот и телефончик, звони, Вася, скажи, что Павлов нас оклеветал. Я позвонил и сказал. Последовала некоторая пауза, после чего на другом конце провода, то есть на Старой площади начал извергаться фонтан просвещенности. Да вы... да как вы смеете... да кто вы такой... на секретаря ЦК ВЛКСМ замахиваетесь... автор паршивеньких повестушек... пишете черт те что... в другое время с вас бы семь шкур за это содрали... После этой неосторожной ремарки о блаженном "друге времени" последовала новая пауза, довольно продолжительная: время-то было нынче неудобное для аппарата, мощи их усатого божка как раз выбрасывались из мавзолея. Какое время вы имеете в виду, озадаченно кашлянув, спросил я. Я имею в виду времена неистового Виссариона Белинского, проорал просвещенный деятель и бросил трубку.

Кризис отношений журнала "Юность" с комсомолом так и не развился до финальной стадии, так как он был вовлечен в кризис более широкого характера — в массивную карательную атаку против молодого послесталинского искусства. В течение полугода 1963, забросив поступательное движение к сияющим вершинам коммунизма и даже борьбу за торжество мира и социализма в мировом масштабе, партия при непосредственном участии своего вождя, верного ленинца Никиты Сергеевича Хрущева колошматил абстракционистов, додекафонистов, сюрреалистов, модернистов, авангардистов, всю ту публику, которую вождь хлестко определил в духе Марьиной рощи одним словечком "пидарасы". Своего пика эта кампания достигла в марте 1963, когда в Свердловском зале Кремля Хрущев орал и стучал кулаками на Вознесенского и на меня.

В "Юности" в те дни царил атмосфера застойного, а стало быть и несколько комфортабельного перепуга. Обеденные перерывы, которые сотрудники обычно проводили в ресторане Дома литераторов, растягивались едва ли не на половину рабочего дня. Анекдоты в коридоре стали рассказывать шепотом. Появился вор. У сотрудников пропало несколько ценных вещей и пальто. Авторы были под подозрением. Распаялся любимый самовар.

Ликующие органы реакционного сталинского крыла (в литературе, милостивые государи, вообразите, в те годы было два крыла) усиливали свои атаки на журнал "Юность" как на форпост всех этих битников и пидарасов. Главный журнал либералов "Новый мир", как ни странно, оказался вне критики, ибо его причислили к литературе "народной". Руководство "Юности" кряхтело все пуше: старики, ну на этот-то раз нас разгонят окончательно. Хитрые правдистские политиканы, они понимали, что нужно выказать полнейшее смирение, принять позу некоего раскаяния, иначе не избежать партийного гнева. Тогда-то и появились на свет различные заявления авторов журнала, признающих какие-то якобы совершенные "ошибки", в том

числе моя статья "Ответственность" в "Правде", составлять которую мне помогала чуть ли не вся редакция. Все вздыхали, поднимали глаза к потолку, разводили руками — надо спасать журнал!

Следует сказать, что когда кризисная пора миновала, "Юность" отнюдь не отступилась от своих позиций, а напротив даже каким-то странным образом на них утвердилась. Середина шестидесятых годов для журнала была, пожалуй, наиболее плодотворным временем.

На Западе принято считать, что с падением Хрущева осенью 1964 года кончился и период так называемой "оттепели", а между тем, именно после этого падения начался период, если так можно выразиться, "второй оттепели", который продолжался до августа 1968 года.

Главным редактором тогда был опытный боевой конь социалистического реализма знаменитый партийный журналист и писатель Борис Полевой, автор хрестоматийной в рамках советской литературы "Повести о настоящем человеке". Перо его соотносилось с пером Катаева в той же пропорции, в какой, скажем, кудахтанье несущки соотносится с пением майского соловья, у него не было никакого ощущения литературы, но в принципе он был человек незлой и даже с некоторым, я бы сказал, положительным зарядом. Первые годы своего правления он во всяком случае старался не мешать. Знаю, старики, что вы тут все собрались такие левые ребята, сказал он авторам и редакции при вступлении на трон, но все-таки давайте попробуем, может вам и удастся отсидеться за моей широкой жэ.

К удовольствию всей редакции кабинет главного чаще всего пустовал. Полевой, один из основных советских "борцов за мир", постоянно кочевал, то и дело выходил на передовую идеологической борьбы, то на Елисейские поля, то на Пикадилли. В его блистательном присутствии или наоборот в отсутствующем присутствии удалось напечатать немало так называемых противоречивых произведений, иными словами кое-что стоящее. Приезжая, он устраивал шумные скандалы — что-то вы тут, старики, распоясались вкрутую! — собирал редколлегия, разносил редакцию, но тут боевая труба Всемирного Совета Мира звала его в новые походы, и вещи, едва ли им не закубленные, появлялись на страницах журнала.

Именно таким образом мне удалось в те времена напечатать две самых своих "непроходимых" штуки — рассказ "Победа" и повесть "Затоваренная бочкотара". Несмотря на постоянное битие в комсомольских и других реакционных органах печати, увеличивался и авторитет молодых авторов "Юности". В середине шестидесятых годов редколлегия пошла на дерзкий шаг, включив в свой состав главу тогдашних бунтарей Евтушенко и меня.

Все это, разумеется, не могло произойти без одобрения или хотя бы уклончивого попустительства Старой площади, то есть отдела культуры ЦК, но дело в том, что в те времена и в этой почтенной организации не установилось еще свинцового единства мнений на литературный процесс. У "Юности", да и вообще у либеральной части советской интеллигенции, были если и не союзники, то доброжелатели среди иных в самом деле просвещенных партийцев.

Примером такого доброжелательства можно считать знаменитую статью тогдашнего редактора "Правды" "Партия и интеллигенция", в которой автор предостерегал от прежних вульгарных методов обращения с творческими людьми. В качестве иллюстрации таких вульгарных методов автор приводил анекдотическое письмо ялтинских таксистов писателю Аксенову. Письмо это было инспирировано газетой "Известия" как возмущенная реакция трудящихся на мой рассказ "Товарищ Красивый Фуражкин", напечатанный незадолго до этого в "Юности".

Популярность и влияние журнала становились все выше. Читатели "Юности" превращались в своего рода многомиллионный клан. Проявились даже некоторые элементы коммерческого подхода. Эмблема журнала, рисунок литовского графика Стасика Кразкаускаса "Девушка с веточкой во рту", стала распространяться в виде почтовых открыток, этикеток для конфет и спичечных коробков, брелков для ключей и так далее.

В вооруженных силах, между тем, по приказу идеологического динозавра Епишева журнал был самым решительным образом запрещен. Однажды, возвращаясь из-за границы, я оказался в одном вагоне с демобилизованными солдатами советской группы войск в Венгрии. Подвыпив, ребята рассказывали о разных своих художествах и вольностях, которые они, такие смельчаки, выкидывали по отношению к своему командованию.

Входит "помпа" (то есть помполит, политрук, комиссар), а я стою возле своей койки в тренировочном костюме, курю "Астор", а в руках у меня журнал "Юность"... Ты что, говорит помпа, читаешь, Семенов, тудыгтвоюналево, разве не знаешь, что запрещено? Нет, говорю, не знаю, товарищ старший лейтенант, покажите, где это написано. Да я тебя на губу отправлю, Семенов! Привет, а я уже в дембеле, уже "Юность" читаю и на все кладу.

Вот еще один сейчас вспомнился смешной поворот этой военно-литературной темы. Года два назад в Чикаго случилось мне быть в русском ресторане. Посетители меня узнали, потому что за день до этого я выступал там в русско-еврейском клубе. Подошел один крепыш лет тридцати пяти. А вы знаете, господин Аксенов, я в свое время из-за вашего рассказа в журнале "Юность" получил пять нарядов вне очереди. Как так? А вот так: служил я в танковых войсках, где — сказать не могу — сами понимаете, военная тайна. Проводит у нас "помпа" идеологическое собрание. Надо, говорит, товарищи солдаты, осудить рассказ этого Аксенова "Местный хулиган Абрамашвили". Вот ты, Гершкович, и начни. А чего же, говорю, его осуждать, рассказ хороший, говорю, жизненный. Ах так, говорит, Гершкович, пять нарядов, говорит, тебе вне очереди!

Много раз мне приходилось выезжать с бригадой журнала в различные города на встречи с читателями. Кстати говоря, встреча в Чикаго сильно напомнила мне эти прежние советские поездки. Энтузиазм публики повсюду был чрезвычайный, а однажды, кажется, в Ленинграде, студенты даже устроили редколлегия выволочку. Говоря о каких-то "проходных" сереньких стишках и рассказах, которые "Юность" время от времени (увы, слишком часто) печатала для отвода глаза, студенты кричали: как вы смеете печатать такое говно в нашем журнале!?

Очередной, а впрочем, кажется, уже и последний кризис потряс журнал в первой половине 1969 года. Вдруг, неожиданно-негаданно Евтушенко и меня исключили из редколлегия. В официальных письмах и его, и меня известили, что это произошло из-за того, что мы небрежно относились к нашим обязанностям. Большая ложь лучше всего себя чувствует на фундаменте из маленькой правды. Все, разумеется, понимали, что за этой акцией стоит что-то другое. Нескольким лет спустя один из руководителей журнала признавался за рюмочкой:

— Мы старались вас отстоять, но те... — он красноречиво провел ладонью над своим плечом, как бы очерчивая невидимый погон, — они давили на нас со страшной силой.

Истина, впрочем, раскрылась задолго до этого признания.

Вместо нас в редколлегия были введены писатели Владимир Амлинский и Анатолий Кузнецов. Прошло несколько месяцев. Однажды летом я сидел в маленьком кафе в литовском местечке Нида. Вошел знакомый московский писатель. Слышали, сказал он, Анатолий Кузнецов попросил политического убежища в Лондоне. Он выступает сейчас по Би-би-си и говорит невероятные вещи.

Должен признаться, что первой реакцией моей на это сообщение был неудержимый хохот. Я воображал себе физиономию Полевого и других наших боссов и не мог удержаться от смеха. Засим — рыбок к транзистору. Мой бывший приятель и в самом деле своими признаниями поражал даже тренированное воображение. Он сказал Анатолию Максимовичу Гольдбергу, что в начале этого года написал донос в КГБ на группу деятелей культуры, в том числе на Аксенова, Евтушенко, Гладилина и почему-то Аркадия Райкина и Олега Ефремова, якобы организовавших подпольную группу с целью демонстрации социализма. Сделал он это для того, чтобы заслужить доверие

органов, чтобы его выпустили на Запад, то есть в конечном счете для того, чтобы сбежать и освободиться от угнетавшей его многолетней опеки этой организации.

Вот почему они нас выперли, а его ввели! Кузнецов говорил, что подбор имен этой "подпольной группы" специально был сделан им самым абсурдным образом, чтобы никто не пострадал, однако товарищам отнюдь не хотелось вникать в тонкости, они ухватились за донос, как за неожиданную бонанзу. Логика хаоса и абсурда направляла всю эту историю.

Настоящая история "Юности" — это, разумеется, история ее первых двенадцати или пятнадцати лет, когда она проходила период становления и перехода из одного кризиса в другой. С завершением кризисной поры она вступила, что называется, в "бальзаковский возраст", однако в отличие от героинь неустойчивого французского романиста она не проявила склонности к романтическим приключениям, но лишь засохла у окошечка с пальцами и с видом на магазин полуфабрикатов.

В принципе, авангардное начинание и не может существовать одно за другим три десятилетия, не вызывая сомнения в своей авангардности, а "Юность" все-таки была задумана как авангард. Иные славные журналы оставляли свой след в литературной истории, просуществовав не более одного, двух сезонов.

В этой связи вспоминаются "Зеленые холмы Африки", а именно замечательная сцена у костра в африканской саванне, когда какой-то случайный попутчик из числа европейских везнаек вдруг опознал Хемингуэя и вскричал:

— Ба, да это кажется Хемингуэй, писатель из блестящей плеяды журнала "Квершнитт".

В молодые писательские годы большой соблазн принадлежать к какой-нибудь "блестящей плеяде журнала "Квершнитт". Такая плеяда, в принципе, сложилась в "Юности" к середине шестидесятых годов. Художественные ценности, созданные "плеядой", можно и нужно поставить под вопрос, однако существование весьма забавной, не очень-то советской, но очень творческой, заводной, полубогемной художественной среды вокруг журнала "Юность" — факт бесспорный.

Вспоминается один из выездов для встречи с читателями, а именно в Ленинград, на поля Манделштама. "В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем", — восторженный голос молодой Беллы оглашал Невский проспект. Мы шли за ней мимо Казанского собора в сторону Мойки, "блестящая плеяда журнала "Квершнитт". Солнечный морозный день, блестят купола униженной столицы, в хмельных парах шествует группа странных людей. Прохожие оборачиваются — что, мол, за публика — стилистами не назывешь, да и на иностранцев не очень-то смахивают, хоть и говорят стихами, ээ-ээ, братцы, да это же блестящая плеяда журнала "Квершнитт", никто иные... Так жарко, так невыносимо жарко! Белла смахивает с ноги свои бальные туфельки. Одна тонет в пушистом сугробе, другая уплывает в неизвестность на крыше троллейбуса. Можно и босиком, если Невский вымощен дактилями, ямбами и амфибрахиями!...

Все эти застоля, капустники, парходные прогулки, пьяный футбол в подмосковной роще, все эти встречи с Жаном-Полем Сартром... Мой Сартр, сказал философу один из поэтов "Юности", как будто продолжая классическое:

— Дай, Джим, на счастье лапу мне...

У авторов "Юности" и у руководства журнала в воображении, разумеется, существовали две разные модели этого печатного органа. В сущности Союз писателей СССР выпустил из бутылки джина молодой постлесталинской литературы, а потом в течение порядочного числа лет осторожно старался затолкать его обратно.

У Полевого иной раз в спокойные периоды возникала идея журнальной жизни как продолжительного и весьма приятственного чаепития. Калачи, печатные пряники; угощайтесь, Жан-Поль, мы тут все свои; о'кей, сказал старик Макей; Леопольд, распорядитесь насчет

второго чемоданчика, то есть самоварчика; ну-с, товарищи, за чистое небо планеты... Итак, в приятной спокойной атмосфере проводим акцию с противоречивым сторонником мира, который своими глазами может наблюдать отсутствие казенщины и присутствие относительно независимых талантов, с которыми обращаемся по завету учителя осторожно, как с сырыми яйцами. Тут уж вовремя и приятный звончок по вертушке. Все в порядке, Андр Укич, находим точки соприкосновения, то есть соприкасаемся в горячих точках, нет, только чай пьем, наш русский, калининского расклада, обстановка в журнале хорошая, деловая...

Чаепития иногда нарушались, когда назойливо влезала "другая модель" с какими-то нелогичными, так сказать, произведениями, наводящими на знобящую мысль, что социалистические изменения в природе обратимы. Тогда корявыми буквами писались на полях сокрушительные ремарки. Скрещения рук, говорит, скрещения ног, судьбы, говорите, скрещения? Это еще откуда такую пошлость выкопали? А это еще что за такую дику затоваренную бочкотару выкопали? Что это за бестактные намеки, что за беспринципное отношение к бочкотаре?

К слову сказать о бочкотаре нашей разлюбленной. Мне всегда доставляет удовольствие видеть, что повесть эта, публикация которой в "Юности" все же состоялась во время боев за мир на Пелопонесском полуострове, до сих пор не забыта в Советском Союзе. Пугают ею малых людей комсомольской словесности; смотрите, мол, не впадите в авангардизм-модернизм-формализм, не катитесь за "затоваренной бочкотарой", а то так и закатитесь вслед за ней на "заокеанские задворки".

Старая "Юность", между прочим, на заокеанских задворках имеет не такой уж плохой приусадебный участок. Марк Купер, который позвонил мне из Бостона и напомнил о юбилее, даже высказал презабавнейшую идею о юбилейном выпуске журнала за пределами одной шестой части земной суши. Мы стали вспоминать, кто где, и пришли к выводу, что авторов, когда-то выступавших под знаменами "Юности", на "задворках" вполне достаточно. Вот вам прозаики — Анатолий Гладилин, Феликс Кандель, Ицхокас Мерас, братья Шергородские, ваш покорный слуга, Фридрих Горенштейн, Георгий Владимов, Владимир Войнович (последние двое, если и не печатались в журнале, то были частыми героями его критических статей), в этой же роли фигурировал и Владимир Максимов, вот вам поэты — Наум Коржавин, Андрей Кленов, Виктор Урин, вот вам скульптор Эрнст Неизвестный, о котором не раз писал журнал в хорошие времена, вот график Павел Бунин, вот литературоведы и критики Раиса Орлова и Лев Копелев, вот артистка театра им. Станиславского Жанна Владимирова, о чьей Антигоне в свое время столь восторженно писал журнал, вот вам и мировые и олимпийские чемпионы фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, когда-то делившиеся с читателями "Юности" своими ледовыми тайнами, вот вам, наконец, писатель Илья Сулов, начинавший в начале шестидесятых годов свою литературную карьеру в качестве заведующего редакцией журнала и бывший в те времена заводилой всех дискуссий, "зеленых ламп", "голубых огоньков", "азлит", "синих птиц". И так далее, и так далее, многие авторы еще не названы и даже не обнаружены...

Вряд ли кто-нибудь на том балу 1960 года в ресторане "Балатон" мог вообразить (даже, признаюсь, и я не воображал), что судьба раскидает "блестящую плеяду журнала "Квершнитт" от Израйла через Швейцарию, Германию и Францию до Соединенных Штатов. Ну, а те-то, что остались, не разобцены ли они еще больше нас, выкинутых на "задворки"?

Однажды, двадцать три года назад, на ветреном перекрестке в Токио я задал уличному оракулу вопрос о судьбе моего литературного поколения. Ответ, кажись, прозвучал по делу. "Нужно быстро идти вперед, не упуская момента. Если все будут действовать дружно, будет удача"... В те времена казалось, что пожелания оракула легко выполнимы. Коварное "если" ускользнуло от внимания.

Последующие годы показали, что несмотря на быстрое дви-

жение, момент был упущен, если он вообще существовал в природе. Иногда кажется, что все развивалось по логике хаоса, иногда думаешь, что осуществлялся чей-то недобрый замысел. Так или иначе, но "блестящую плеяду" год за годом стали раздирать ссоры, столкновения самолюбий, хитрые уловки, которые еще долгое время никто не решался называть предательством.

Вырождение "Юности" в подкаблучную богadelню стало очевидно уже в конце шестидесятых годов. Заматеревшая в многочисленных компромиссах, с карманами полными ворованных фигов, бывшая молодежь еще пыталась увидеть какой-то свет в конце тоннеля, еще мерещился образ нового журнала, юнее "Юности", некая гулкая лестница с эхом новых метафор; процесс разъединения, однако шел все ускоряющимся темпом, и лестница в конце концов была просто облевана.

Мечта о литературной плеяде все-таки сбылась, однако на десятилетие позднее. Объединение произошло не на поколенческой — в принципе, как оказалось, полностью фальшивой — основе, не по эстетическим принципам различных формальных направлений, как

это было в двадцатые годы с футуристами, конструктивистами и имажинистами, не по философским даже течениям, ибо рядом были и позитивисты и новые мистики, а на единственной, кажется, в наше время плодотворной и честной основе, когда объединяются люди, которым просто стало уже невозможно терпеть тоталитарный блуд.

Альманах "Метрополь" — вот подлинная литературная плеяда наших дней. Он дал тем, кто в нем участвовал, и тем, кто был рядом с ним, новое ощущение среды, что казалось, давно уже испарилось под идеологическими и политическими сушилками, а этой среде он вернул почти уже забытое ощущение праздника. "Метрополь" во многом осуществил то, что смутно мерещилось наивным юнцам молододой "Юности". Облитый ложью всех этих феликсов кузнецовых и грязью гневных собраний московских писателей-партийцев, он выдержал всего лишь одно издание тиражом двенадцать самодельных экземпляров и просуществовал всего лишь один год как группа, зато, в отличие от тридцатилетней старушки "Юности", он никогда уже не постареет.

Вашингтон

КРИТИКА

РУССКИЙ КУРЬЕР

32

Марк Липовецкий

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

О романе Марка Харитонова
"Линии судьбы,
или Сундучок Милашевича"

У Ганса Георга Гадамера, отца герменевтики, есть статья "Неспособность к разговору", в которой он рассуждает о закрытости сознания для диалога как о глубоком дефекте современной цивилизации.

По-моему, это предельно точное описание той ситуации, которую сегодня напряженно переживает и наша литература, и наша интеллигенция в целом. "Неспособность к разговору сознает себя" — и начинается "психоаналитический разговор", но не врача с пациентом, а, скажем так, интеллигенции с самой собой. И ведь речь идет не о том, чтобы неправильные, либо навязчивые представления о жизни сменить на другие, правильные. Речь идет о том, чтобы научиться самостоятельно формировать свои понятия о мире в процессе диалога с миром. В этом смысле образ хаоса как нормы; мотивы, складывающиеся в картину всецело относительной реальности, важны не столько как "отражения" чего-то действительно существующего, сколько как "проблемная ситуация", нулевая точка отсчета. Я не хочу сказать, что литература из учителя жизни превращается во врача-психоаналитика. Я хочу сказать, что литература должна неизбежно взять на себя роль самого процесса "психоаналитической беседы", в которой "неспособность к разговору излечивается не чем иным, как разговором". Это, может, и не

столь почетная роль, как хотелось бы, но и не столь унизительно пустопорожня, как горяча показалось при первых свиданиях с рынком. Это та роль, которую честный художник сможет осуществить и в формах элитарной, и в формах массовой культуры, и в поэтике постмодернизма, и в рамках традиционного реалистического стиля.

Потому-то и радуют любые, а в особенности, естественно, успешные попытки текущей словесности найти свое лицо в диалогическом измерении. Потому-то я и пишу статью о романе Марка Харитонова "Линии судьбы, или Сундучок Милашевича" (Дружба народов, 1992, №1, 2).

Это, конечно же, интеллектуальный роман. И интрига в нем соответственная: филолог, кандидат наук Антон Александрович Лизавин разбирает бумаги забытого провинциального философа и писателя начала века, умершего где-то в конце 20-х, Семена Кондратьевича Милашевича. Впрочем, бумаги в данном случае слово неподходящее, так как сундучок Милашевича заполнен конфетными фантиками, на оборотной стороне которых владелец и вел свои обрывочные записи. По этим обрывкам, перебирая и комбинируя их, Лизавин пытается восстановить судьбу Милашевича — и постепенно обнаруживает, что и его собственная судьба складывается под непосредственным воздействием и самого забытого автора, и его фантиков.

Разумеется, можно было бы призадуматься над прототипами Милашевича, сопоставить его, к примеру, с Розановым — но в том и дело, что М. Харитонов так умело погружает нас в стиль, и в логику, и в жизнь своего философа — что хочется говорить именно о Милашевиче как о совершенно самостоятельном мыслителе. Верхний пласт его рассуждений, откомментированных Лизавиным как "провинциальная философия", выглядит как прямой ответ на вопрос об об-

щем знаменателе, потребном для диалога. Этим знаменателем Милашевич считает банальное, рутинно-повседневное, пошлое — "сор жизни", одним словом: "Провинциальный вкус может меняться, — проповедует у Милашевича в одном из рассказов перед богачом-меценатом человек, называющий себя "придумыватель картин". — Но во все времена большинство людей будет от рождения знать наизусть "У попа была собака", и эта собака будет занимать в их душе место рядышком с Пушкиным. Не стоит ею пренебрегать, иначе мы... не пойдем тот народ будущего, который восторжествует при любом повороте истории. Не пойдем, наконец, чего-то существенного в самих себе... Именно первоосновы жизни банальны". Эта философия рождена ощущением жизни, сдвинутой с фундамента, не напрасно эта идея свою правоту наиболее четко обнаруживает именно в катастрофические времена: "То, что выглядело комической фантазией чудака... стало по неволе общим достоянием в пору, когда за буханку ржаного хлеба отдавали обручальные кольца, когда книгами топили печки, когда галошам можно было посвящать оду... когда добыча керосина и дров обретала значительность, даже торжественность библейскую, когда, по слову поэта, домашний скarb вновь становился утварью — быт поистине оборачивался бытием".

Разве к нам это не относится? Но почему же Антону Лизавину, стоящему в одной из бесконечных в своей бессмысленности очередей, на ум приходят совсем иные мысли Милашевича — "место преступления перед временем", к примеру. Выходит, и Милашевичу, и Лизавину мало гармонии с миром на уровне "общего знаменателя". Томит неполнота самоощущения. Не зря же Лизавин ощущает скрытую, но напряженную связь, существующую между записками случайного знакомого, диссидента Максима Сиверса и Милашевичем, между Сиверсом и

собой. А ведь Сиверс рассказывает о своей странной болезни — аллергической реакции на пошлость, узость, ограниченность, короче, на всякого рода неполноту: "Всякая красота лишь запретна, ее воздух не для нормального дыхания... — пишет он. — Смешно этим болеть, но что поделаешь, я не выбирал, и для чего-то, может, нужно в мире и мое уродство, моя роковая неспособность довольствоваться неполнотой. Нас гонит куда-то сила непостижимая, выше нас".

Неполнота, в сущности, вовсе не означает ограниченности. Больше того, именно неполнота восприятия жизни в интеллектуальном мире романа оказывается главным доказательством индивидуального бытия. Милашевич, тот готов признать право на свою неповторимую точку видения мира даже за растениями, даже за неживыми предметами. Эта точка единственна для каждого, именно поэтому неполнота гарантирует уникальность личности и личного опыта. Так — через слабость, через неполноту — парадоксально переосмыслиется в романе знакомый вопрос о судьбе индивидуалистических ценностей в сдвинувшейся, сплошь относительной реальности, ведь идея неполноты — она прямо сопряжена с осознанием действительности как сплошь относительной. (В романе немало эмблем этого мирообраза — вот одна из них: "Разгульная компания прошла мимо... и лица у всех были до фокуса одинаковые, обширные, плоские, багровые, с копеечными носами, несущественными глазками. Только у женщины брови были подведены полумесяцами да рот раскрашен. Ну, рожи! — качнул головой Лизавин. Он проводил их взглядом и увидел, как через несколько шагов все трое оглянулись на него и заржали снова. — Ну, рожа! — услышал он голос женщины".)

О, нет — и Милашевичу, и его ученику через десятилетия Лизавину претит презрительный взгляд на "основное большинство" как на быдло, существующее по зоологическим законам и не нуждающееся в истине. Наоборот, для Милашевича важно, что всякая неполнота, в том числе и в первую очередь неполнота рутинной жизни есть доступная человеку истина.

Но в том-то, видно, и состоит мука и драма русского интеллигента и интеллигентного самосознания вообще — что замешено это самосознание на тоске по недоступному в принципе, на стремлении во что бы то ни стало неполноту духовного опыта и знания — преодолеть.

Один вариант этого преодоления — революционная утопия, расцвет которой наблюдает Милашевич, а распад — Лизавин. Это путь унификации, приведения всех к единой точке зрения, заранее объявленной исчерпывающе полной и всеохватной.

Милашевич, а по его следу и Лизавин, на фоне гротесков того муляжа жизни, ко-

торый создан в системе утопических координат, пробуют реализовать другой вариант осуществления невозможного, преодоления неполноты контакта человека с бытием. Этот вариант — диалогический.

Вообще, если-таки искать не биографических, а философских "родственников" созданному воображением М. Харитонов Милашевичу — то я бы в первую очередь вспомнил о Михаиле Бахтине. Ведь и интеллектуальная конструкция "Сундучка Милашевича" и даже внутренняя структура романа, вся пронизанная взаимными переходами "чужого слова" из зоны сознания Милашевича в зону Лизавина, других персонажей — все это непосредственно, но очень по-новому, тонко и остроумно, материализует бахтинскую философию диалогизма...

В сущности, весь роман представляет собой сложный многослойный и многоголосый обоюдоострый диалог между Миром и Текстом. Как затягивает и героя, и автора, да и читателя этот процесс разгадывания подоплеки и истинного смысла (да и есть ли он, единственный, однозначный?) фантических записей, как интересно следить за тем, как одна и та же запись поворачивается то так, то эдак, то вообще заново высвечивается в неожиданном контексте. Но постепенно выясняется, что кажущееся литературной игрой, оригинальным словесным "кубиком Рубика" оказывается кровавым, больным веществом жизни Милашевича. "Так больно, так тяжко. Неужели не слышишь? Ну вот же я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество моей души, моего ума". Больше того, понимаешь, что поиски связей между фантиками адекватны тем поискам смысла и логики в смятенном мире, которыми жил Милашевич: "в каждом сцеплении таилось что-то, непредсказуемое для ума. В разраставшемся из частиц мироздании все было связано со всем... как будто продвигаешься во сне, в неверном, нереальном пространстве, и вдруг возникает из другого измерения, вырастает перед тобой твердое — и ударяешься о него и чувствуешь: это на самом деле боль, тут смерть взаправду".

И уже нет ничего удивительного в том, что Антон Лизавин, разгадывающий загадки Милашевича, не только ведет разговоры со своим героем (причем, эти сцены лишены какой бы то ни было привычной в таких случаях натужности), он вдруг обнаруживает, что "придаёт чужим строкам смысл, которого они иметь не могли, потому что ведь были о ком-то другом, не о нем, но от этого, своего смысла теперь нельзя было освободиться..." Он замечает, что, оставаясь самим собой, смотрит на мир и глазами Милашевича. Он чувствует, что собственной жизнью комментирует фантики Милашевича, а те в свою очередь комментируют его, Лизавина, жизнь.

Это и есть преодоление неполноты бы-

тия диалогом: ибо "мы понимаем других через себя, как понимаем себя благодаря другим, ибо через каждого из нас открывается путь к каким-то общим глубинам... Там, на глубине, все наши соперничества и метания, измены и даже убийства из ревности служат, возможно, отбору и продолжению жизни; но там же коренится что-то, чего так просто не объяснишь: безнадежное ожидание, верность вопреки смыслу и даже самой смерти, как будто есть для тебя на свете единственное осуществление, способное завершить полноту".

Но М. Харитонов идет еще дальше, и диалог с текстом оказывается не столько даже аналогом, сколько просто одним из воплощений того диалога с судьбой, с властью случая, который ведет и Милашевич, и Лизавин, и любой человек вообще. Кто управляет прихотливым рисунком случайностей, тех самых случайностей, которые в эпохи катастроф диктуют и ход жизни, и ее закон, и ее беззаконие? "Жизнь водит скверным пером по бумаге, мы стекаем с чернильного кончика, складываемся из букв". Что остается человеку в этом случайном и относительном мироздании? Искать связи, логику, строить линии жизненного сюжета и доводить их до конца. Найденная связь — первейший синоним истины. "Что по сути открыл нам Шлиман? Разве Троию гомеровских гекзаметров? Но ведь и не Троию же посудных черепков, каменных стен, погребенной утвари или пусть даже золотых украшений. Он открыл — и утвердил в нас — сознание и чувство связи между гекзаметрами и черепками, глубинной, невыразимой, как музыка, связи между нами, перебирающими черепки, сегодняшними землекопами, страдающими от лихорадки, от дурной воды, и вечным духом человеческого рода".

А что толкает на поиски диалогического измерения? Чувство обособленности, переходящей в отчуждение от мира, — "страх потерянности", невероятно обостряющийся в катастрофические времена.

Оборвалась пуповина,
С гноем вытекла отравы,
Под ногами нет опоры,
Пусто, ветрено и страшно

— этот стишок Ионы Свербеева, земляка Милашевича, не раз возникает в размышлениях Лизавина. Или как в жестком афоризме формулирует то же чувство сам Милашевич: "Чужая слюна — плевок". Тут все достаточно традиционно.

Но откуда же берется другой страх — "страх понимания" — иначе говоря, страх перед осознанными связями, перед уловленной логикой существования? А ведь он, этот страх, знаком и Милашевичу, и Лизавину.

Все дело — в хаосе. Именно образ предвечного хаоса встает и за той картиной сдвинутой, фантазмагоричной реальности 20-х

годов, мгновения которой застыли в фантазиях Милашевича; именно власть хаоса реализуется через поток случайностей, царящих и в судьбе Милашевича и его близких, и в судьбе Лизавина. А разве не лицо хаоса вырисовывается из мозаики вполне "чернушных" по фактуре эпизодов из жизни Лизавина — мордобою в очереди за дезодорированным маслом, КПЗ, больничные ужасы, наркоман Сашка Кайф?.. Всеобщая относительность ценностей — категория того же порядка. Но раз в мире хаоса нет ни порядка, ни закона, а человек, вступая с хаосом в диалог, пытается понять, выстроить сюжет своей жизни — то действительно, "нет смысла кроме того, что ты создаешь сам. Мы обречены надеяться, мы должны жить так, словно от нас зависит начать сначала". И значит действительно "нас творят наши творения", и "происходящее с человеком объясняет, кто он такой".

Но разве от этого легче? Ведь это означает — что ты ответствен за все, что случается в твоей судьбе. Не на кого надеяться. Диалог с хаосом предполагает не обузданье хаоса изнутри (как верится), но мучительное интимное сопряжение с ним. И потому Милашевич, казалось бы, нашедший то, к чему стремился всю жизнь, раздавлен "невыносимой полнотой" своего счастья: он после долгой разлуки вновь встречает женщину, которую любил, а эта встреча подкашивает его, он устраивает свидание жены с ее ребенком, уже выросшим и ставшим коммунистом-уполномоченным, в противогазной маске, надетой на лицо для пущей важности, — а это ее убивает. Но на пепелище, прощаясь со всем, записывая свои мысли без знаков препинания, тем самым как бы признавая свое поражение в диалоге с хаосом, Милашевич в то же время восклицает: "С кем я думал тягаться с кем спорить Но ведь не ради себя И сейчас надо позаботиться нельзя допустить дыр в воздухе Мироздание может остыть Страшная безобразная межзвездная пустота нагромождение камней Нужна все время энергия".

Да и Лизавин, озабоченный диалогом с Милашевичем, дважды теряет любимую женщину (ее немота, молчание — знак несостоявшегося диалога), лишь задним числом узнает о самоубийстве Сиверса — "и не избыть вины".

Счастье не дается как награда за открытость к диалогу. Но "мироздание может остыть". И непрерывный трудный диалог с культурой, с бытием, с хаосом — это единственное, что дает необходимое ощущение возможности смысла жизни и смерти, любви и творчества; и хрупкую надежду на одухотворенность этой невыносимой связи всего со всем. По-моему, ради этой трагической надежды и написан роман Марка Харитоновна.

Москва

Лев Аннинский

КРУТОЙ УЗОР

Сергей Юрьенен издался в родном отечестве. Можно сказать, впервые: дебютный сборничек, выпущенный в 1977 году, был подсечен немедленным отъездом автора на Запад и практически выпал из литературного процесса. Юрьенен выехал по обстоятельствам скорее матримонимальным, чем идейным, но неважно: раз выехал, то и выпал. Все его главные книги (романы "Вольный стрелок", "Нарушитель границы", "Сын империи", "Сделай мне больно") изданы "там". Теперь "Сын империи" переиздан здесь.

Интересно сравнить: чем отечественный Юрьенен отличается от Юрьенена зарубежного?

Во-первых, исчез мат. Две-три острых непристойности прикрыты стыдливой отточиями, надо полагать, издательскими. Ничего похожего на тот духовитый абсценный пласт, который у западного Юрьенена как бы "не знает", что он абсценный (то есть запретный). После той вольности — этакая стерильность.

Во-вторых, исчез секс. Ни "садо", ни "мазохизма", уже почти прилипших к репутации Юрьенена на Западе. Ни намека на головокружительные соития, акробатически встроенные в сюжетные конструкции зарубежного Юрьенена. Намеки, впрочем, есть. Какой-нибудь "конкурс хат — с малиновым вареньем к чаю и дедушкой библиофилом, с отсутствием жены и датским фильмом, с фотостудией на дому и парой лесбиянок из кордебалета на той же лестничной площадке и даже — с обсуждением сборника "Из-под глыб"... — брезгливым перебором передает презрение автора к московским интеллигентским кухням, причем "отсутствие жены" и присутствие лесбиянок как-то теряются. В зарубежных изданиях такие оргии бывают развернуты "на всю катушку".

Наконец, исчезла магия обнажения, телесным напором бившая из западных книжек Юрьенена, беспокровным уплотнением встававшая, маячившая из всех прорех. Тут она как-то канализирована, введена в объяснимые берега, а точнее сказать, сбита в один эпизод, для чего маленький герой отправлен с мамой в женскую баню. А так — ни-ни. В крайнем случае — промельк какой-нибудь: "колени — между полкой пальто и голенищем сапога". Сверкнуло, и привет.

Свалил бы на цензуру, но какая теперь цензура под родными осинами? Нет, это авторская установка. Может быть, в расчете

на читателя? Еще недавно наш читатель замечательно реагировал на все запретное, потому что едва выскочил из пуританского инкубатора; на нем можно было играть, как на флейте, теперь однако он так оглушен эротикой, прущей на него из всех подземных переходов, что вряд ли можно на его чувства рассчитывать. Так что установка у Юрьенена скорее внутренняя.

Перевод стрелки с результатов на генезис.

В романе "Сын империи" дан генезис того человеческого типа, который описан в романе "Вольный стрелок" и проведен через все творчество Юрьенена. Зародыш характера. Обстоятельства пришествия.

Надо сказать, обстоятельства рельефны и красноречивы.

Ленинградский шкетенок, безотцовщина, дитя коммуналок, исследователь чердаков и подвалов. Хитрый звереныш, безмотивно ненавидящий и неосознанно таящийся соседней (советский мир, как известно, — сплошные "соседи").

Юрьенен выстраивает реакции героя именно как безмотивные. Пошел и донес на сестру матери. Взял кирпич и бросил с крыши на голову стоящих внизу. Спер и спрятал револьвер. Смысл-то именно в том, чтобы к мотивациям нас — ПОДВЕСТИ. Именно поэтому первоначальные рефлексии заданы как безусловные, едва ли не врожденные.

Диалог о проблемах генетики неспроста вживлен в разговор сашиной мамы с горбуньей Миррой Израилевной, которая изгнана из высокой биологической науки в провинциальную школу; дело не в "приметах времени" (хотя и в них тоже: "треугольная гидра сионизма — Вейсман — Мендель — Морган" — это знак!), но Юрьенену важно понять генотип, генофонд, геноопыт, создавший его вольного героя, нарушителя границ, делающего больно. Поэтому сердцевина Bildungsroman'a, романа воспитания, становления, ЗАРОЖДЕНИЯ — важнейшее сексуально-абсценного налета (что-то вроде проходного балла в западной беллетристике?), от которого Юрьенен в данном случае решительно избавляется. Ради загадки появления. Ради сверхзадачи: понять, откуда взялся "сын империи".

Империя — не реальность. Это у Юрьенена пустошь, пустота, пустырь. Хаос, схваченный обручем. Все могут украсть: белье с веревки, штаны из банного шкафчика, лампу из гнезда. Что не украдут — разобьют или испортят. Ветер, все уносящий. Самум. Пустыня.

Империя — это сплочение частиц, спасающихся от ветра, — в массы, в классы, в команды, в кодлы. Это сваливание мертвых в братские могилы. Это слипание живых в очереди. "Стояние в очередях" — образ жизни.

Империя — это воинственность. Агрессивность молекул. Угрожающий крик на

кухнях, на улицах, в магазинах. Это казармы, военгородки, танкодромы. Учения. Секреты. Границы.

Запад – альтернатива по всем этим линиям. “Здесь НЕ кричат, НЕ ругаются, НЕ толкаются и даже в очереди говорят вполголоса”. Запад даже солдат хоронит индивидуально... а потом с этих индивидуальных березовых крестов, уворованных нашей восточной соборностью, “отапливается округа”. Индивидуальные тела умерших сбрасываются в нашу неразличимость.

Сын империи рождается из ничего и растет в никуда. Абракадабра заложена в условия. Можно быть сыном своих родителей, сыном полка, сыном улицы, “сукиным сыном”, наконец. Но что такое – “сын империи”?

За пять лет до исчезновения СССР (роман издан в 1986 году, а написан, стало быть, еще ранее) Юрьенен психологически измеряет это исчезновение.

Вакуум рождения. Отец гибнет до появления сына, и мать (будущая мать), интернированная в лагере для перемещенных лиц, производит на свет не собственного сына, а – сгусток ситуации, символ небытия. Полтора месяцев младенец вывезен вместе с урной (прах погибшего отца) из советской зоны оккупации Германии. Сплошная символика “лежат на мраморном столе вдвоем: обоссанный парной комок орущей красной плоти, суровый пистолет ТТ и урна с прахом”.

Много лет спустя “обоссанный комок”, привыкший “уходить с поверхности” и “развиваться с исподу”, вывозит на запад свои санитарные ухватки и в парижской двухкомнатной квартире в доме XVI века принимается “срать в ведро” и “сать в камин” (в “Сыне империи” это, кажется, предельные случаи словесного “неприличия”), а главное – и в Париже все тот же вакуум: “деваться” герою решительно “некуда”. Он несет в своей душе вирус пустоты, которым наградила его при рождении империя.

Вакуум – это ситуация, при которой сила обращена на поверхность, на “абрис”, на “границы”. Сила – коррелят пустоты, пространства, захваченного “места”.

Сила – лейтмотив. Сила оружия, сила воли. Попытка удержать расплзающееся бытие, изнутри зараженное отрицанием. Внешняя биография героя – лишь оформление этого внутреннего сюжета. Не случайно и “Оттепель отгремела” прежде, чем он успел осознать свой жребий: кончилась эпоха поэтов, стадионы обезлюдели, ореолы исчезли, нимбы угасли, и вместо опьяненного поколения шестидесятников осознает он себя в выброшенном на трезвящий холод поколения “дворников и сторожей”. Таков антураж. А корень – вот в этом вакуумном лоне, в проклятье рождения. Тут – специфическая тема Юрьенена, его пи-

сательский угол зрения. Герой – не смерти боится. Он РОЖДЕНИЯ боится. “Изначальный ужас”.

Лейтмотив генетической подорванности искусно совмещается с мотивом “ленинградской-петроградской-петербургской” оскуденности здоровья. Отсюда же – в компенсацию – тяга к “жизнеспособным москвичкам”, а еще лучше – к крепким, томящимся и томящим деревенским бабам. Это тоже восполнение изначально, генетического, предбытийного ужаса. Империя оказывается призрачной. Сын империи – выморочен.

Стиль письма: крутая недоговоренность, мазки и пятна, изысканно грубо, то есть “без объяснений” оброненные – от той же леденящей безначальности. Сам Юрьенен в одном из своих “литературных” рассказов (то есть рассказов о самочувствии ПИСАТЕЛЯ) замечательно точно (сказывается филологический факультет МГУ) характеризует этот стиль. “Набоковский комплекс... Пластичность парадоксов... Стилевые змеи, свои же хвосты глотающие! Кольца ужаса!... Страх правды”.

Предыдущее поколение “молчало под Хемингуэя”, нынешнее – высказывается под Набокова: от Саши Соколова до отечественных “послебитовских” мастеров “другой прозы” все работают по набоковской матрице. Отчего? У шестидесятников был психоз недоговоренности – от боязни переполняющих чувств, от страха сентиментальности, от сокровенности, равнейшей в откровенности. А у этих? Зачем им Набоков? Что стоит за голографически-осязаемой, смертельно-непреложной “поверхностью” набоковской прозы?

Вакуум. Пустыня. Висящий в невесомости мираж. Непреложность бабочки, наколотой на булавку, из живого неуловимого трепыхания переведенной в музейную фиксированность. Набоков – писатель, на глазах которого мир ухнул в небытие, – поэтому посмертная маска мира понадобилась ему: непреложная, до пылинки точная.

Почему за Набокова схватилось поколение писателей, родившихся между 1941 и 1953, оказавшееся между последними идеалистами – шестидесятниками и оглашенными безумцами подступающей гласности? Между последними строителями империи (“светлого будущего”) и первыми плясунами на ее похоронах...

Да потому и схватились, что ситуация срифмована. Набоков дал им язык: из непреложной ткани слов соткать саван НЕБЫТИЯ.

Они пережили ужас изначально небытия. Урна с прахом, ОТ КОТОРОГО рождается “нечто”, воплощенное в красном куске орущей плоти – апофеоз антирождения. Урна и пистолет рядом с колыбелью.

Империя побеждает всех своих врагов

и замирает в необъяснимой, изнутри съедающей тоске. Динамит, припасенный для других, слеживается в арсеналах. “Сын империи”, ОПОЗДАВШИЙ РОДИТЬСЯ, продолжает жить, “тоскуя по упущенной возможности героически пасть”.

За что пасть?

“За эту скуку...”

Скука победы. Бешенство бесцельности. Вакуум безвременья. Падает режим: “нет ни первых отделов, ни стукачей, ни даже признаков милиции”. Встает из вакуума то ли то, что империю породило, то ли то, с чем империя могла справляться... как назвать “это”? Новый тип жизненной концентрации? Орущее мясо с исподу? “Поножовщина на танцплощадках, редчайшие новинки в книжных магазинах, тараканы в макаронах, отпускаемых вразвес, сине-зеленые цыплята в канун праздников”...

Не буду длить это набоковски-крутое описание “признаков” той России, которую мы только что ЕЩЕ РАЗ потеряли. Из-под рухнувших имперских скреп вырывается “стихия бытия”, и ползут “стилевые змеи”, “кольца ужаса”. Это – стиль поколения Юрьенена, им подхваченный и воплощенный. Он безусловно мастер. Но главная ценность его книг не в этом. А в том “страхе правды”, которая рвется у него сквозь крутой узор.

Сергей Юрьенен. Сын империи.
“Радуга”. М. 1992.

Герман Гецевич

“ОДИНОКО МНЕ В ЛЕДЯНОЙ СТРАНЕ...”

/Ян Сатуновский “Хочу ли я посмертной славы”. Библиотека альманаха “Весы”, Литературно-художественное агентство “Тоза”, Москва, 1992/

В 1991 году, на страницах альманаха “СТРЕЛЕЦ” №3 /67/ были впервые ретроспективно представлены стихи Яна Сатуновского, одного из участников лианозовской группы. Для многих любителей поэзии эта публикация была маленьким открытием большой планеты, светоносным импульсом лирического волнения, бесценным подарком судьбы. Перед глазами современного читателя предстал Поэт, чья самобытная стилистическая манера на уровне личностных структур, читается, как по Брайлю. Присутствие этой экспрессивной интонации сразу стало привычным для голосовых связей моей голодной гортани. Я многократно перечитывал эти тексты вслух и про себя, родным и знакомым, в больничной палате и в частных телефонных беседах. В результате, я понял, что без этих стихов жить еще труднее /особенно в России/, что они необходимы всем, кому не противопоказана их мировоззренческая направленность, как глоток кислорода для задыхающегося астматика. Строки, написанные Яном Сатуновским ...дцать лет назад, со свойственной лишь ему натуралистической точностью, афористичностью, разоблачительным сарказмом, абсурдным смыслом — сегодня, как никогда, звучат своевременно и современно. Они переполняют чердачное помещение нашего литературного сознания концептуалистическими подробностями московского быта и лубочным духом лианозовского “баракко”.

“Рабин: бараки, сарай, казармы.
Два цвета времени:
серый
и желто-фонарный.”

И вот сегодня я держу в руках первую книгу оригинальных стихотворений Яна Сатуновского, изданную при содействии литературно-художественного агентства “ТОЗА”, с печальным и пронзительным названием: “ХОЧУ ЛИ Я ПОСМЕРТНОЙ СЛАВЫ...” Трепетно перелистывая страницы, невольно понимаешь, что имеешь дело не просто с жестко скомпанованной книгой стихотворных текстов, а с жизненным материалом, с фрагментарными обломками горькой и счастливой судьбы Поэта, жившего в усло-

виях такой страны, где ни то что на славу /пускай посмертную/, но даже и на элементарное человеческое внимание рассчитывать нельзя.

“На носу декабрь. На дворе снежок.
Под снежком ледок, как заметил Блок.
Вот и Блока нет, Пастернака нет,
Одиноко мне в ледяной стране.”

Ян Сатуновский, как человек, наделенный творческой интуицией, остро и болезненно воспринимал все обстоятельства места, времени и действия, и чем пристальнее была его связь с чувством одиночества “в ледяной стране”, тем плотнее и насыщеннее была сама художественная ткань его неподражаемой поэтической речи, чья нарочито расшатанная лингвистическая конструкция естественным образом сочеталась с дикими модуляциями и припадками эпилептической эпохи.

“Руки скрутят за спину,
Повалят навзничь,
Поллитровкой голову провалят —
Ничего другого
я не жду от своего
народа”.

О лаконичности, конкретности и лексическом минимализме Яна Сатуновского уже писали и ещё напишут не раз поэты, историки и исследователи современного искусства. Удивительно одно, что при столь минимальном использовании “словесной руды” /в этом отношении Сатуновский уступает только Всеволоду Некрасову/, автору удается не только вложить в стихотворные тексты всю полноту своего негодования и эмоциональной энергии, но и сберечь языковые структуры живой поэтической речи от литературного распада. Ощущая себя прямым последователем футуристов и обэриутов, с теплом, волнением и душевной приязнью Поэт говорит о тех, кого считает своими учителями. Говорит доверительно, внятно и монументально:

“Достану томик своего учителя.
Давно я Хлебникова не перечитывал,
не подымался на валы Саянские,
в слова славянские не окунался.”

“Я был из тех — московских
юнцов, с младенческих почти что лет
усвоивших, что в мире есть один поэт,
и это Владим Владимыч; что
Маяковский —
единственный, непостижимый,
равных — нет
и не было;
всё прочее — тьфу, Фет.”

“Ха и Вэ
Хармс и Введенский.

Пасха.
Воскресает лес.
Ржавый пень —
и тот воскрес.
Но эти двое —
не воскреснут.”

Каждым своим пульсирующим словом Ян Сатуновский категорически отрицает стилистическую инерцию и красноречивую банальность языка, сводящуюся к глагольной подрифмовке: “летите-глушите”, — например. Он с роденовским своеволием отсекает все лишние и случайные слова, не выпуская из рук каменное тело истины:

“Летите, голуби, летите,
глушите, сволочи...”

И эти неисчислимые интонационные параклизмы освежают и усиливают ритмический рисунок его стихотворных реплик, становясь творческим методом.

“Рыбы дышат жабрами,
а автомашины —
электрическими лампочками.”

В данном случае, перед нами широко открывается метафорический горизонт свободного стиха.

Сам Ян Сатуновский о своём реальном месте в литературной “иерархии” с язвительной незатейливостью однажды обмолвился:

“Кто во что, а я — поэт.
Кто на что, а я на С.
Стою по ранжиру
между Слуцким и Сапгиром.”

О стихах Яна Сатуновского в предисловии к его книге, поэт-лианозовец Генрих Сапгир очень точно сказал: “Стихи совершенно живые. Рождённые сейчас. Вот ещё не остыли.”

А между тем:

“Исполненная детской мудрости,
Струится речь, двоится, пристальная,
расчёсывая кудри водорослям,
людские судьбы перелистывая.”

С грустью думая о “посмертной славе” Яна Сатуновского, хочется без комплиментарности добавить, что весь нелёгкий путь этого удивительного Поэта — не окольный путь литературного обывателя, способного функционировать при любых режимах, а /по выражению Бердяева/ — “свободный акт самооткровения...”, исполненный и “детской мудрости”, и художественного темперамента, и непоказного гражданского чувства...

Москва

ЖЕЗЛ ААРОНА

Миф о "серебряном веке" отечественной культуры из зоны эпической все больше переходит в зону фамильярную. Прошлое ожило и придвинулось настолько близко, что постепенно перестраивается и наша оптика: выразительней лица, различимей тупики и прозрения...

Это ли не повод для очередного разговора наших А. и Б., которым удалось познакомиться с мемуарами А. Штейнберга "Друзья моих ранних лет /1911-1928/", подготовленными известным французским славнистом Ж. Нива и вышедшими в парижском издательстве "Синтаксис" в 1991 году.

А. Вообще у Штейнберга есть эпизоды, которые легко счесть сочиненными, вымышленными. Скажем, ночь в Петроградском ЧК. Александр Блок и Аарон Штейнберг на одной шубе, бок-о-бок, в ожидании собственной участи. Или вздущая щека Андрея Белого, который объясняет свое недомогание дурными мыслями о духовном наставнике Рудольфе Штейнере, крупнейшем антропософе. А рвущийся к власти Горький, одной рукой подписывающий смертные приговоры, другой пишущий письма в защиту и кое-кого избавляющий-таки от смертной казни. А Бертран Рассел, которого Белый и Штейнберг приглашают выступить на заседании Вольной философской ассоциации, с подозрительной уклончивостью выпрашивающий об их взаимоотношениях с властью. Или растерянный Луначарский, из-за спины которого выглядывает молодой человек в кожанке и тут же отменяет разрешение прогрессивного наркома просвещения на проведение очередного философского мероприятия...

Б. Такого рода эпизодов действительно много. Что же ты хочешь, если сама реальность была фантастической, "умысленной", если воспользоваться словом Достоевского. А сам Штейнберг был типичным интеллигентным русско-еврейским мальчиком, чистым и просто-сердечным, вполне под Достоевского обращавшийся к своим знаменитым собеседникам с вопросом: каково веруешь? Такого ведь нарочно не придумает: юный студент-философ приходит к Розанову домой, чтобы выразить свой протест и возмущение по поводу юдофобских выступлений Василия Васильевича во время позорного процесса над Бейлисом. Он ведь очень высоко ценит Розанова, а тут такое разочарование. Между тем Розанов гостеприимен и добродушен, не без юродства, правда, так что даже дочери его смущаются и страдают от отцовских эскапад...

А. По-моему, так это очень даже замечательно, что все фигуры, о ком пишет Штейнберг, причем пишет чаще всего с симпатией, с сочувствием, с пониманием, даже если совершенно не разделяет взглядов собеседника, все они проблематичны. В каждом есть некая загадка, которую он стремится разгадать.

Ну, нельзя сказать, что ему это удается. Что, например, означала робко застенчивая улыбка Блока, которая, по словам Штейнберга, останавливала внимание и поражала своей загадочностью? Смирение перед "духом времени", самоумаление культуры перед стихией, личности перед массой? Или предчувствие близкой гибели, сознание собственной ненужности?

Да-да, она непременно должна быть знаковой, символической, раз речь о великом поэте. В простых человеческих проявлениях мы ему уже отказываем. Между тем и Штейнберг вносил определенные коррективы в миф о Блоке. Он замечает, что если поэт в то время и "рядился во что-то, то скорее в заурядность, в подчеркнутую готовность быть со всеми и как все".

А может, поэт, когда его не требовал к священной жертве Аполлон, извини, и был как все, разделяя подчас самые темные предрассудки и заблуждения?

Ты имеешь в виду неприязнь Блока к евреям, в которой он исповедуется Штейнбергу в камере петроградского ЧК? Вот тут и впрямь, пожалуй, есть нечто символическое: тревожная, можно сказать, роковая ночь, грозящая гибелью, — и о чем разговор? Бог ты мой, что же это за загвоздка такая для нашей интеллигенции, что за вечный камень преткновения? Можно подумать, что здесь какая-то тайная неиссякающая ревность — нет, не к Богу, как у Достоевского, а к собственной культуре, к русской культуре, к которой евреи бескорыстно привязаны и для которой сделали не так уж мало. Впрочем, как бы там ни было, есть в этой загвоздке нечто токсично-параноидальное, мелкое, стыдное и мутное...

Ну, эпитетами тут делу не поможешь. С одной стороны, как пишет Штейнберг, юдофобство — скрытая, "обратная сторона русского патриотизма", а с другой стороны, еврейский вопрос — вопрос религиозный, метафизический. Не случайно эта тема постоянно всплывает в его воспоминаниях — об Иванове-Разумнике, Карсавине или Шестове.

Понятно, что метафизические разборки — не погром, а все равно дико, как и розановские антисемитские опусы, которые он публиковал, по его собственному признанию, из политических соображений, чтобы предотвратить "еврейское иго". Мне вообще кажутся "удобопреватными", воспользуюсь точным словом Владимира Соловьева, некоторые философские обобщения, к которым, кстати, склонен и сам Штейнберг. Вроде того, что сущность русского человека — православие, а сущность еврейства — вера. На мой взгляд, любая абсолютизация такого метафизического плана вступает в противоречие с идеей личности и ее свободного духовного самоопределения. Личность питается из разных источников, в том числе и национальных, важность которых трудно переоценить, но она свободна в своем выборе, так же как не является некой изначально данной и окончательно предопределенной величиной, называемой сущностью. Все прочее — интеллектуальные игры...

Между прочим, у Штейнберга так и получается. Человек у него, будь то Лев Карсавин или Лев Шестов, шире и глубже концепции. Его не уложишь в прокрустово ложе ни своих, ни его собственных философских умозаключений. И самый цвет личности, какой бы странной, противоречивой, парадоксальной она не представляла (а таких ярких, характерных деталей в книге предостаточно), — в ее индивидуальности, где национальная краска далеко не на первом месте.

Вот-вот, мне кажется, прав Шестов, когда возражал Бердяеву (привожу по книге Штейнберга): "Почему иудеев? Причем тут множественное число? Если я когда-нибудь выражу свое понимание литературы, это будет моя личная ответственность. Не хочу, чтобы другие отвечали за меня... За твоего Маркса тоже отвечают "иудеи"? И спроси Луначарского, кто отвечает за его Спинозу? Что бы не случилось, ты будешь отвечать за себя, а я, и только я, за себя".

А тебе не кажется, что у нас какой-то странный разговор? Вроде все ясно, а мы тем не менее продолжаем объясняться. Причем как бы даже не совсем о "серебряном веке" и не совсем о книге Штейнберга.

Что же делать, если эти проблемы так трудно изживаются, а в эпохи крутых исторических разломов и массовых движений, в эпохи социальных и духовных кризисов коллективное бессознательное угрожает поглотить личностное самосознание и ответственность, одурманивая человека примитивными, но зато очень понятными и потому прельстительными идеями.

Ну, не так просто это, как кажется. Не случайно в тяжелые послереволюционные годы, по свидетельству Штейнберга, люди или на заседаниях Вольной философской ассоциации, секретарем которой он был и которая пыталась в условиях красного террора отстоять независимость духовной жизни. Они шли, чтобы услышать лекции Блока, Белого, Разумника, Карсавина, то есть живых людей, с живым умом и сердцем, и самим доискаться правды. Та, которая им называлась, отталкивала своей мертвящей казенностью.

Просто — не просто, но опыт истории, и не только отечественной, к сожалению, показывает, что никакие Вольфилы с их благородными просветительскими целями не спасают от массового психоза деления мира на черное и белое, а людей на своих и чужих. Это ведь вроде умпомешательства.

Для тех, кто объединился в Вольфилу, революция была значима прежде всего как революция духовная, и ни Блок, ни Белый отнюдь не ставили перед собой узко просветительских целей. Их мысль была глубже — о духовном преображении человека. Они были идеалистами, романтиками, мистиками. Поэтами, одним словом. Как и многие деятели "серебряного века". Нам и не снилась та степень духовного напряжения, с которой они жили. Та духовная полнота.

Наверное, поэтому нас так влечет эта эпоха. И можно только порадоваться появлению книги еще одного ее незаурядного очевидца, в памяти и жизни которого она оставила неизгладимый след...

Записал Е. Ш.

Москва



**Издательство
„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“
предлагает
книгу ВЛАДИМИРА КОБРИНА
„КОМУ ТЫ ОПАСЕН,
ИСТОРИК?“**

Эта книга
состоит из трех частей:
1. ПО ИЗБАМ ЗА КНИГОЙ.
2. ГРОБНИЦА В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ.
3. ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ.

Она связана
с историей журнала „НОВЫЙ МИР“,
его расцветом
и разгоном редакции.

Александр Глезер

ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ ДНОМ

(Глава из книги)

Окончание. Начало в № 1.

Используя цитаты из оscarовского сочинения, газета "Вашингтон пост" опубликовала статью своего московского корреспондента Антони Астрахана "Фельетоны о советском искусстве совершенно серьезны". Он сразу же обобщил: "Некоторые из современных московских живописцев оказались мишенями в нынешней кампании подавления советской культурной жизни... Газета "Вечерняя Москва" опубликовала фельетон, напад в сатирической форме на Александра Глезера, поэта и переводчика, чья квартира служит своего рода галереей для многих лучших художников, не признаваемых в Советском Союзе... Это первая атака в печати на оппозиционно настроенных людей из мира искусства начиная с 1967 года. Пока она не состоялась, казалось, что культурная кампания обойдет живописцев и сосредоточится вокруг представителей литературы, таких, как писатель Александр Солженицын и редактор Александр Твардовский".

Как всегда, отклик Запада заставлял надеяться, что, остерегаясь огласки, власти не прибегнут к крайним мерам и уж во всяком случае за свое мужество Рабин не поплатится. Тем не менее Руссовский не преминул пригласить его в редакцию. Обижено бубнил:

— Что вы, Оскар Яковлевич, нашу газету "бульварной" называете?

Пикантная ситуация. Орган горкома партии окрещен "бульварным". Съесть бы им этого проклятого Рабина с костями за наглый эпитет. Приходится же терпеть, разговаривать на равных. Вот он и распускается:

— Почему вы печатаете сплетни?

Руссовский, игнорируя замечание:

— Мы против вас выступать не будем. Вы поступили эмоционально, защищая друга.

Какое рыцарство! Какое благородство! Прощают врагу колкие, едкие, бьющие не в бровь, а в глаз строки, да еще их передачу за рубеж, потому что вступился за друга. Словно сбылось предсказание Пророка и волки стали мирно пастись с ягнятами. Нам подохла этого преображения ясна. Тронь Рабина — за перо возьмется Немухин, стукни Немухина — не удержится Мастеркова... И начнется... Нет, широкая, шумная война с художниками не входит в планы карателей. А расправиться с коллекционером-пропагандистом необходимо. Это и легче. Живописцев много, а он, такой дурак, один. Художники материально от государства не зависят, а он кормится в наших издательствах. Перво-наперво лишим его работы. Для того достаточно всего лишь фельетона (и действительно, едва его опубликовали, как в разных городах сняли с производства пять книг моих переводов). Потом изгоним из профкома литераторов, и он окажется нигде не работающим, нигде на учете не состоящим паразитом-туеядцем. Тогда суд насильственно трудоустроит его на службу где-нибудь подальше от Москвы — и конец осиному гнезду модернистского искусства!

Задуманное неукоснительно проводилось в жизнь. Профкомовцы еле-еле дождались, пока я выйду из больницы, и ко мне пожаловала комиссия во главе с председателем профкома Прибытковым. Ходят они по квартире, глазают на картины и возмущенно рокочут. Все, дескать, непонятно, все это кривлянье, а не искусство, Рабин же, и спорить нечего, неприкрытый антисоветчик. А ухватистый, расторопный, лицемерный Прибытков разговаривает со мной, как с младшим, любимым, да вдруг нашкодившим братом.

— Картины еще ладно. Нравятся вам, висят у вас в квартире, и пусть висят. Но как вы умудрились передать за границу статью с антисоветским душком?

— Нет в ней никакого душка! Статья о художниках.

У него с собой копия:

— Вы утверждаете, что авангардистов не выставляют на Родине, обрекают на молчание и цитируете эмигранта Замятина, писавшего в тысяча девятьсот тридцать втором году Сталину, что для творца такое молчание равносильно высшей мере наказания, то есть расстрелу. Вы осмеливаетесь сравнивать положение ваших художников с положением Замятина, которого не печатали и не печатают, потому что он проповедовал чуждые нашему обществу взгляды.

— Замятин — большой русский писатель... Художников же и вправду не выставляют.

Прибытков разочарован моей несговорчивостью. Усаживает всю компанию, зачитывает статью. Общее мнение — крамольная. Только двое среди этой восьмерки — нормальные люди: старик Романовский и Юра Дмитриев. Не то чтобы они одобряли мое поведение. Ни в коем случае! Но они считают, что основное — проверить, соответствуют ли изложенные в фельетоне факты истине. Последовательно и доказательно опровергаю обвинения. Однако ни на кого, кроме тех же Разумовского и Дмитриева, мои доводы не производят никакого впечатления. Им и слушать их скучно. Наша газета всегда права. Чего тут еще копать! Но дипломатичный Прибытков прощается дружелюбно. Обещает, что вскоре соберутся большое бюро профкома и актив секций, заслушают меня, все обсудят и вынесут решение. Про себя я отметил "приговор".

Бюро назначили на 25 марта. Утром того же дня встречаюсь с Прибытковым. Объясняет, что положение сложное, что требуют (кто требует?) немедленного моего исключения из организации. Но не все еще потеряно. Мы вас попробуем спасти. Для этого нужно, чтобы вы раскаялись. И торопливо:

— Перед товарищами на собрании, в узком кругу!

Меня оклеветали и я еще должен раскаиваться! Протестую, но как-то вяло. До сих пор глотаю таблетки, которые мне дали в больнице, а они, как позже узнал, рассчитаны на подавление активности.

Прибыткову же чудится, что я растерян:

— Проводите меня. По дороге продолжим разговор. — И

в метро успокаивает. — Не стоит расстраиваться. Все образуется. Нет ничего зазорного в том, чтобы признать ошибку перед братьями по перу.

Доезжаем до станции "Дзержинская". Взгляд рассеянно скользит по черному бордюру, окаймляющему мрамор стены. Нарочно ли, нечаянно, безвестный архитектор украсил символической траурной каймой станцию возле зловещей Лубянки. Прибытков поглядывает на часы:

— Начало у нас сегодня в шесть, а вы приходите на полчаса пораньше. — И к выходу. Побежал за распоряжениями. Интересно, куда. Прямо через площадь, на Лубянку, или направо, в горком партии.

А в 17.30 он совсем другой. Наверное, доложил куда надо, что Глезер, кажется, нетверд, и получил указание добиться от меня максимума. Сейчас ему недостаточно устного раскаяния. Сейчас Прибытков хочет, чтобы я признал свою вину черным по белому, написал бы заявление в бюро профкома. И уже тащит лист бумаги и ручку:

— Я вам продиктую. — И тут же, склонившись надо мной, как демон-искуситель: — А может быть, вы пошлете письмо в "Вечернюю Москву"? Это самое лучшее. Тогда отделаетесь выговором.

Наконец добрались до сути. Начиналось с малого — раскаяния в узком кругу товарищей, заканчивается обычным требованием прилюдно посыпать себе голову пеплом и молить о прощении. Открылись вы, товарищ Прибытков!

— В газету, меня оклеветавшую, писать не буду!

И он смягчается, отступает, как опытный фехтовальщик:

— Пойдемте, пойдемте на бюро. Время поразмыслить у вас еще есть.

Самая большая комната издательства "Советский писатель" набита битком. Лица братьев-литераторов исполнены значительности. Родина поручила им судить преступника, и нужно оказаться достойными доверия. За минуту до открытия прибегают секретарша:

— Звонили из горкома партии, просили выступления стенографировать.

Это нечто вроде допинга. Теперь-то все поэты и прозаики, и без того находящиеся в состоянии боевой готовности, рванутся в атаку с утроенной энергией. Высокое начальство оценит их рвение. И, опережая карьеристских молодых, поднимается Гейгер. У него славное прошлое. Служил в войсках НКВД. Венгр по национальности, открыто одобрил введение в Будапешт советских танков. Ликовал, когда подавляли Прагу. Ему понукания ни к чему. Он свой партийно-чекистский долг знает. После его исполненной праведного гнева речи и другим полегче выступать в том же ключе. Клеймят и клюют, клеймят и клюют. Заместитель Прибыткова, седенький, маленький, словно навек чем-то пришибленный Корнблюм, сегодня витийствует:

— Видел я, товарищи, эти, с позволения сказать, картины. Если на заводе имени Лихачева Глезер устроил бы выставку, рабочие уничтожили бы их все до единой! И побили бы авторов!

— А в институте имени Курчатова такую выставку приветствовали бы! — смело парирует Дмитриев. Ему на подмогу спешит Романовский. Покашливая, зачитывает:

— Наша юридическая комиссия проверила факты, изложенные в фельетоне, и считает, что большинство из них не соответствует действительности. Глезер виновен лишь в организации новоселья-вернисажа без предупреждения о том Союза художников и в передаче в обход АПН статьи за границу. Последнее неэтично.

Милый Романовский! Как хорошо сформулировано-то: "неэтично". Это я еще могу признать. Хоть и противно, но на какие-то уступки ради коллекции пойти придется. А тут для отхода предложили такой роскошный мостик. Эту вину я за собой признаю и еще признаю, что, когда приглашал гостей на новоселье, обязан был заручиться санкцией МОСХа. Я бы порадовался, если бы мое раскаяние по сему поводу напечатали. То-то было бы смеху!

Теперь Дмитриев поддерживает Романовского:

— По поручению бюро я заходил к Руссовскому, сказал, что использованные для фельетона факты ложны. Думаете, он стал меня переубеждать? Ничего подобного. Только спросил: "Ну и что?"

Когда выступали Дмитриев и Романовский, у меня на мгновение мелькнула шальная мысль: "А вдруг ход собрания переломится? А вдруг найдутся новые смельчаки?" Нет, непоколебимы ряды борцов за коммунизм! Упрекают заблудших коллег в близорукости и постыдном либерализме. Да читали ли они статью Глезера? Читали! Так о чем же разговаривать? Это же типичная антисоветчина. Нет, гнать его взашей! Мы не можем дышать с ним одним воздухом. Председатель секции прозы от негодования сотрясается:

— Я три года провел в окопах. Воевал с фашистами. А к нему немецкий посол картинку смотреть приезжает!

Я не утерпел:

— А что бы вы сделали, если б посол к вам приехал?

— Грудью бы встал в дверях! Не пропустил!

Собрание длится четыре часа. Двух мнений быть не может — выгонят. Прибытков предлагает высказаться мне. Ох, врезать бы им правду-матку! Но приходится локально выступать. Опровергая пункт за пунктом фельетон. Шумят, прерывают. Отстаиваю статью — режут. Такая злоба в их криках, в их словах, в их глазах, будто я оскорбляю лично каждого. Но Прибытков чуть-чуть гасит страсти — дирижер он умелый — и подбрасывает вопросик:

— Александр Давидович, хоть в чем-то вы себя признаете виновным?

Кое в чем? Как робко спрошено. Кое в чем могу и признать:

— Я ведь сказал уже о неэтичности поступка и новоселье-вернисаже без ведома МОСХа...

— Так напишите об этом в "Вечернюю Москву".

Что он, спятил? Кто же это напечатает? Не идиоты же там? Да и сам Прибытков не дурак. А он настаивает. Он апеллирует к своему стаду. И стадо мычит:

— Пусть напишет!

Снова витийствует Прибытков. Все больше об идейном воспитании. О высоких материях. И неожиданно, как бы между прочим:

— Я считаю, что если Александр Давидович в письме чистосердечно признает вину, кое о ком из художников...

— Я не обещал каяться и писать о художниках!

Укоризненно глядит, дескать, я вас не прерывал. И, словно защищая меня от меня самого и будто спасая меня от вновь расшумевшейся аудитории:

— Если такое письмо появится (и в мою сторону — без художников, без художников!), то можно не исключать Глезера, а временно снять с учета.

Жажущие крови удивляются, но покоряются. Раз Прибытков занял столь примирительную позицию, значит, на то есть основания. Значит, все согласовано с верхами. И те, кто еще секунду назад предлагал не только гнать меня вон, но и соста-

вить коллективное письмо с просьбой предать суду антисоветчика и махинатора, проголосовали за снятие с учета.

Я же — как вареный (чертовы таблетки!), туго соображаю. Но и в этом состоянии сознаю, что теперь-то за кулисами и начнут мне выкручивать руки, выбивать письмо с покаянием на все сто процентов. Подобные послания очень по сердцу нынешним хозяевам страны. Ты подписался в защиту диссидента, ты осмелился выразить собственное мнение, не совпадающее с партийным, ты напечатал свое произведение на Западе — вались на колени! Хочешь жить — покаяйся на страницах родной прессы! Трудно самому себе в душу плевать?.. А ты плюнь, коль позволил себе своевольничать! Поешь землю, гад, растопчи свою совесть! Не во имя самоуничтожения лишь, хотя и ради того, но для острастки другим. Поглядите, мол, умники, как кается гордый Булат Окуджава или чудом выживший в сталинских лагерях (двадцать лет на Колыме!) Варлам Шаламов. Уж если сломили их, то вас согнем в два счета. Не хотите потом позориться, так сейчас сидите и молчите.

Так-то, "прогрессивные" западные писатели. Вам нравится роль ваших советских коллег в жизни общества, организованность в СССР издательского дела! А как насчет цены за эти роль и организованность? Может быть, и вы уже готовы отказаться от личных взглядов и пристрастий и слепо повиноваться партфункционерам? Вот и Прибытков выполняет их непреклонную волю:

— Жду от вас письма через два дня.

А через два дня читает мои двадцать строк и только что не плюется. Ему, видите ли, обидно, что он меня выгораживал, а я отвечаю черной неблагодарностью. Все не нравится председателю. И тон, и стиль, и нежелание признать ложь истиной. И главное — о картинах, о художниках — ни слова. Как будто трудно было, к примеру, написать, что, будучи в эмоциональном состоянии заблуждался и собирал работы фрондирующих непрофессионалов, неумелых модернистов.

— Не мог же я четыре года пребывать в эмоциональном состоянии.

— Эх! — вздыхает он, — трудно с вами столкнуться! Вот товарищ Корнблум хочет вам помочь. Поезжайте в ближайшие дни к нему домой и спокойно обсудите текст письма.

Старый коммунист Корнблум встречает меня приветливо,

шутками и прибаутками. Жена и взрослая дочь накрывают на стол. Типично еврейская кухня — рыба фиш, кнедлики... Хозяин поглаживает себя по животу:

— После сытного обеда и разговаривать веселее. — И не-принужденно, как нечто вполне обыкновенное: — Я, конечно, понимаю. Вам трудно написать такую бумагу самому. Дружеские чувства. Ложное самолюбие. Но мы ее составили за вас. Распишитесь, и все.

Это означает на их языке "обсуждение текста". Ну-ка посмотрим, что им от меня надобно. О, очень многого! Виноват. Раскаиваюсь. Больше не буду. Грязь в адрес художников. И блистательная, вся в сослагательном наклонении, концовка: "Если бы моя статья была бы напечатана на Западе и недобросовестно прокомментирована бы, то она могла бы создать превратное представление о положении части творческой интеллигенции в нашей стране". Значит, художников-модернистов не запрещают выставлять, значит, их не травят в прессе, значит, перед ними открыты все дороги. И под этим бесстыдством подписываться?!

Но Корнблум не теряет надежды. С терпением, участливо:

— Я старше вас на много лет. Гожусь вам в отцы. Советую — не губите себя и семью! Здесь лишь полстранички. — И затем, указывая на этюд, вульгарную рыночную поделку, стоящую за стеклом книжного шкафа: — Поглядите! Шесть сосен. Все они отражаются в пруду. И еще лебедь плывет. Тринадцать предметов! И за это я заплатил всего лишь три пятьдесят. А на картине Рабина нарисована только рыба и подклеена газета. Он же содрал с вас триста рублей! Друг называется! Вы наивный человек. Вас обманывают!

А телефон звонит уже не в первый раз, и мгновенно покрывающийся испариной жалкий человек повторяет слово в слово:

— Нет, пока не подписал. Мы обмениваемся мнениями. — И осторожно положив трубочку, снова ко мне, душевно, с надрывом даже (партзадание-то хочется выполнить):

— Вы еврей и я — еврей. Какое вам дело до русского искусства! Подпишите!

Однако не откликнулся я на зов Корнблума, и родился на свет документ, в котором:

"бюро ПОСТАНОВИЛО: Александра Давидовича Глезера ИСКЛЮЧИТЬ из профсоюза работников культуры".

ТОРЖЕСТВО ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге с двадцать седьмого января до середины марта проходят персональные ретроспективные выставки русских парижан Оскара Рабина — и Валентины Кропивницкой. Да, представьте себе, того самого Рабина многолетнего лидера московских художников-нонконформистов, который в июне 1978 года указом Президиума Верховного Совета СССР был лишен советского гражданства. Того самого Рабина, которого власть имущие изгнали из страны, но которому французское правительство, учитывая значимость этого художника, предоставило

квартиру-ателье в центре Парижа рядышком со знаменитым центром Помпиду, то есть французским национальным Музеем современного искусства.

Инициатор и один из организаторов печально знаменитой московской "бульдозерной" выставки 15 сентября 1974 года с тех пор как поселился в Париже, стал выставляться по всему миру еще более широко, чем до своего изгнания. Вот групповые экспозиции неофициального русского искусства, в которых принимали участие Оскар Рабин и его жена Валентина Кропивницкая: Биеннале в Венеции, Турине и Беллинзоне, выставки во французских музеях Шаргтра, Тура и Лавала, в городском музее Токио, в Вашингтоне в залах конгресса и сената США, в многочисленных Дворцах культуры Западной Германии, Франции и Италии, во многих галереях Нового и Старого света.

Персональные выставки выдающегося русского художника с успехом прошли в Нью-Йорке, парижке (четыре), Осло, Вене, а Валентины Кропивницкой в Париже (две), Лондоне, Осло, Вене.

И вот, наконец, Государственный Русский музей, подготовивший к открытию выставки замечательный каталог, напечатанный в Германии, российской пресса, телевидение, радио. Россия действительно достойно принимала своего Художника. И, кстати, нельзя не сказать о том, что во многом эта выставка смогла состояться лишь благодаря энергии и усилиям заместителя директора Государственного Русского музея Евгении Николаевны Петровой.

Пятьдесят с лишним полотен Оскара Рабина представлено на этой экспозиции и свыше сорока рисунков Валентины Кропивницкой. Здесь работы и лианозовского, и

московского и парижского периодов творчества художников. Их предоставили на выставку коллекционеры Дина Верни, Александр Глезер и сами художники. Черно-белая и одетая в цвета парижская графика Кропивницкой, неистовые, ироничные и в то же время пронзительно лирические холсты Рабина, впервые так полно собранные вместе, дают в полной мере оценить масштаб этого замечательного нашего мастера и удивительный мир рисунков его жены.

Рыбина, Рабина, рыбины Рабина, — писал когда-то поэт Игорь Холин и тут перед нами и эти рыбины, и рабиновские черные коты, восседающие на крышах лианозовских бараков, и скособоченные, убегающие в даль телеграфные столбы, и первый советский поп-арт — знаменитые картины "Паспорт" и "Старка". В общем, здесь наша Россия, написанная с любовью и болью, тоской и горечью. И здесь же — рабиновский Париж, Париж, который писали сотни художников, но который Рабин увидел и изобразил по-

своему.

Выставки Оскара Рабина и Валентины Кропивницкой в Государственном Русском музее стала событием в художественной жизни нашей страны. И остается только пожелать, чтобы такие выставки состоялись и в Москве, ибо ведь и Рабин и Кропивницкая принадлежат Москве и ее художественной школе.

И вот еще о чем мне хотелось бы сказать: три картины передали в дар Государственному Русскому музею Оскар Рабин и четыре работы Валентина Кропивницкая. Одну картину Рабин передал в дар Пушкинскому музею в Москве.

Кто же все-таки больше думает о том, чтобы русские картины присутствовали на родине: наши художники, которых прежде называли неофициальными и преследовали, или безразличные ко всему, кроме собственного блага чиновники, которые ныне возглавляют русскую культуру?!

Н. Андреева

Валентина Кропивницкая и Оскар Рабин в Москве. 1970 г.



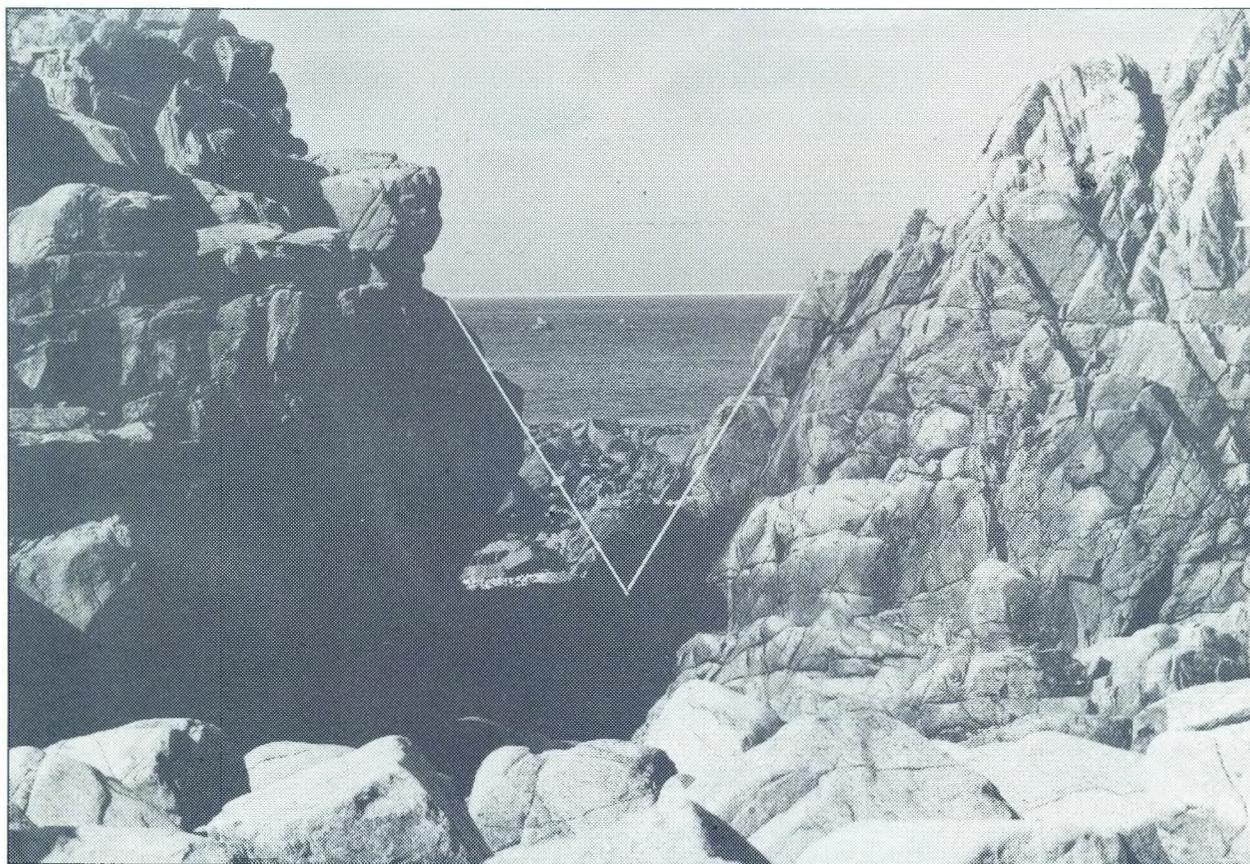
Фото Игоря Пальмина

ТРЕТЬЯКОВКА ДЕРЗАЕТ

НЕСКОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ ВЫСТАВКИ ИНФАНТЭ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

Ещё несколько лет назад это было бы невозможно: работы лидера московского андерграунда, активного участника истории неофициального искусства — и вдруг в каноническом советском разделе ГТГ. "Плотина" была прорвана выставками "Другое искусство" /зима 1991/ и Э.Штейнберга /весна 1992/, и вот — запоздалое официальное признание снизошло и на Франциско Инфантэ. Художник не стал негодуяще его отвергать, а постарался хоть как-то оживить пространство зала на Крымской: помещение современное, но построенное в начале 80-х с тем превосходством бездушности и мертвенности, что отличает и другие "памятники архитектуры" того времени. Какие же впечатления рождает присутствие работ Инфантэ в этой среде? Ставя этот вопрос, я тем самым провоцирую определенное развитие текста, где "Третьяковка" начинает выступать в роли персонажа арт-среды. Первое. Что дала Третьяковка Инфантэ?

Общий вид зала воодушевляет цельностью и отточенной стильностью экспозиции. Художника даже не смутила огромная, стеклянная стена, выходящая в жуткой архитектуры, недостроенный внутренний двор. Стена, способная как прекрасно осветить объемы скульптуры (здесь, кстати, долгое время экспонировалась советская скульптура), так и убить любую попытку организации отдельных произведений в какое-то целое. Почему же эта попытка удалась Инфантэ? Кажется, благодаря инсталляции "Машина в лесу" (1988-91), где реальные стволы деревьев, перенесенные в интерьер и объединенные зигзагообразным металлическим вращающимся стержнем, создают особую промежуточную зону, скрадывают контраст "зал-улица". А если приглядеться, даже переключаются с одиноким голым кустиком во дворе, на снегу. Создается впечатление, что Инфантэ достиг чего-то большего, чем простое экспонирование серий артефактов в черно-белом или цветном фотовоспроизведении. Он выступил в данном случае как создатель одного, глобального артефакта под названием "Выставка Инфантэ". Артефакт, который преодолел сопротивление среды и претендует на синтез, ранее недостижимый. Синтез истории самого жанра (начиная с серии "Супрематические игры" — 1968 г.) и пространства его пребывания. Романтический оттенок появления артефакта при этом



Франсиско Инфантэ. Артефакты из серии "Геометрические горизонты" 1992 г.

исчезает, зато вся экспозиция настойчиво утверждает возможность музейного варианта его существования. Второе. Что дал Инфантэ Государственной Третьяковской галерее?

Появление подобной выставки, в общем, таит в себе массу неожиданностей и опасностей для стабильной (читай: "застойной") системы собирания современного искусства, которого ГТГ следует в последние годы. Зал Инфантэ выпадает из контекста, выступает на ровной поверхности выставочной площади на Крымской как препятствие для традиционалистов и как дивертисмент для потенциально раскованных зрителей. Не будет откровением сказать, что в ГТГ нет традиции собирать и изучать современное искусство. Все вышеназванные выставки прошли как "экзотика", как раритеты и это упущение трудно преодолеть. Хотя создается впечатление, что устроители выставки Инфантэ стремятся постепенно такую традицию создать. Третье. Что дают нам работы Инфантэ?

Артефакты — главный жанр выставки. Они представлены в своей самоценности — по сериям, и одновременно объединены в пространстве — по участкам стены — как своеобразные инсталляции, и ведут по биографическому пути автора (от начала 70-х годов к середине 90-х). В естественнонаучной терминологии, артефакт — это некое инооб-

разование, вдруг проявившееся в системе и ломающее её изнутри. В композициях Инфантэ элемент непредвиденности — это то искусственное, что вносится художником в изначальную гармонию природного. В самом противопоставлении природы и техники, бытия и цивилизации художник оказался радикален и дерзок. С завидной целеустремленностью на протяжении более, чем двух десятилетий он балансирует на самом острие этого глобального для всего человечества противоречия. Найденный ход — провокация конфликта между "природным" и "искусственным" — варьируется с бесконечными нюансами, безграничной фантазией. Но цель работы всегда одна: романтический, в своей основе, поиск красоты. Да, Инфантэ эстетичен и тем выбирается из многих течений бывшего андерграунда. Он может быть сопоставим с шестидесятнической неофициальной линией создания "шедевров", однако использует для своей работы свойственное ему особое, инженерно-дизайнерское видение природы и специфические, присущие фотографическому творчеству, оптические эффекты. По сравнению с Вейсбергом и Краснопевцевым, Немухиным и Плавинским, он — художник следующей генерации, но внутри своего возраста и творческого пласта (на фоне сухого концептуализма 70-х) оказался одиночкой именно в силу склоннос-

ти творить красоту. В самых последних сериях артефактов "Геометрические горизонты" и "Продолжения" (обе — 1992) это эстетство присутствует в полной мере. Объектом манипуляций художника становится роскошный, экзотический пейзаж: скалы, испещренные трещинами, поросшие удивительных оттенков травами, изломанная кромка берега Адриатики, переливчатое южное небо на закате... Сама эта натура, как утверждает художник, подсказала единственный верный способ её "артификации": усмирить, уравновесить эту изначальную избыточность и прихотливость. Инструментом, естественно, служит лаконичный язык геометрики; ярко выкрашенные фигуры: овалы, квадраты, пространственные (висящие в воздухе) пунктиры структурируют пространство, выделяют в нем зоны напряжения. Создается впечатление, что в контексте пресыщенной постмодернистской эстетики, Инфантэ стремится к сохранению равновесия, к строгости и лаконичной изысканности его работ. К поискам "красоты" добавилось качество "меры", неизбежная составляющая "классической" фазы творчества любого художника.

Ольга Козлова

Москва

Памяти поэта

Двадцать третьего февраля в московском Музее им. Герцена состоялся вечер, посвященный восьмидесятилетию замечательного поэта Яна Сатуновского, одного из виднейших представителей андерграунда, в свое время тесно связанного со знаменитой Лианозовской группой.

Открыл вечер поэт Игорь Калугин, познакомивший собравшихся с недавно вышедшим сборником стихов Яна Сатуновского "Хочу ли я посмертной славы". На вечере выступили поэты Генрих Сапгир, Михаил Сухотин, Слава Лён, Всеволод Некрасов, литературоведы Владислав Кулаков, Елена Пинская и главный редактор нашего журнала.

Прекрасно (Да здравствует техника!), что в зале звучал, в записи, голос самого Яна Сатуновского, и многочисленные любители поэзии слушали стихи в авторском исполнении.

Памяти художника

Двенадцатого марта в Москве открылась посмертная выставка выдающегося русского художника Александра Харитонов (1932-1993). Ее организовали Центр современной русской культуры (Париж – Москва – Нью-Йорк) и еженедельник "Аргументы и факты". Выставка состоялась в залах редакции.

В галерее Клод Бернар

Девятого марта в этой одной из наиболее престижных парижских галерей открылась персональная экспозиция известного живописца Эдуарда Штейнберга. На выставке представлено восемнадцать картин и две гуаши, написанные художником в Париже.

Поэзия продолжается

Новый поэтический журнал "ВОУМ" начал выходить в Калуге в 1991 году. В конце прошлого года вышел второй номер "ВОУМа". Среди его авторов Генрих Сапгир (Москва), Михаил Крепс (Бостон), Юлия Свеницкая (С.-Петербург), Владимир Ветров (Хабаровск), Владимир Барна (Тернополь) и др. Это издание вызовет интерес прежде всего у любителей русского верлибра.

Обратите внимание на этого художника

В одном из залов Центрального дома художника семнадцатого февраля открылась персональная выставка талантливого и самобытного художника Алексея Бегова, чьи мощные и экспрессивные композиции привлекли внимание многих искусствоведов и любителей живописи. По нашему мнению, это одна из самых интересных экспозиций, состоявшихся в ЦДХ в нынешнем году.

Анатолий Зверев в Германии

Как нам стало известно, на днях в Геттингене открылась персональная выставка Толи Зверева. Это – прекрасно. Но нам думается, что было бы необходимым организовать аналогичную выставку и на родине художника. "Русский курьер" делает все возможное, чтобы такая выставка (и классом выше, чем в Геттингене!) состоялась в Москве в декабре сего года.

Стартовала новая галерея

В Нижнем Новгороде, в галерее "Кариатида" четырнадцатого марта открылась первая персональная выставка нижегородского художника Сергея Сорокина, на которой представлено около сорока его работ. Любителям живописи напомним, что три холста этого молодого талантливого живописца экспонируются наряду с полотнами мэтров современного русского искусства на первой выставке московской галереи "Крымский вал".

Фестиваль искусств

Восемнадцатого марта в день рождения композитора Н. Римского-Корсакова, в Санкт-Петербурге открылся фестиваль искусств "От авангарда до наших дней". На нем звучала музыка крупнейших мастеров XX века и современных молодых авторов. в рамках фестиваля проходила выставка, на которой были представлены произведения мастеров великого русского авангарда, а также современных живописцев: А. Белкина, Г. Богомолова, А. Васильева и др.

Музей пополняется

Собрание будущего Музея нового русского искусства пополнилось картинами и скульптурами, переданными в дар Музею художниками Анатолием Белкиным, Ириной Бируля, Глебом Богомоловым, Валентином Герасименко (все – Санкт-Петербург), Алексеем Беговым (Москва), Виктором Игнатенко, Александром Лавровым, Сергеем Сорокиным (все – Нижний Новгород), Димом Новицким (Уфа).

В нашем салоне

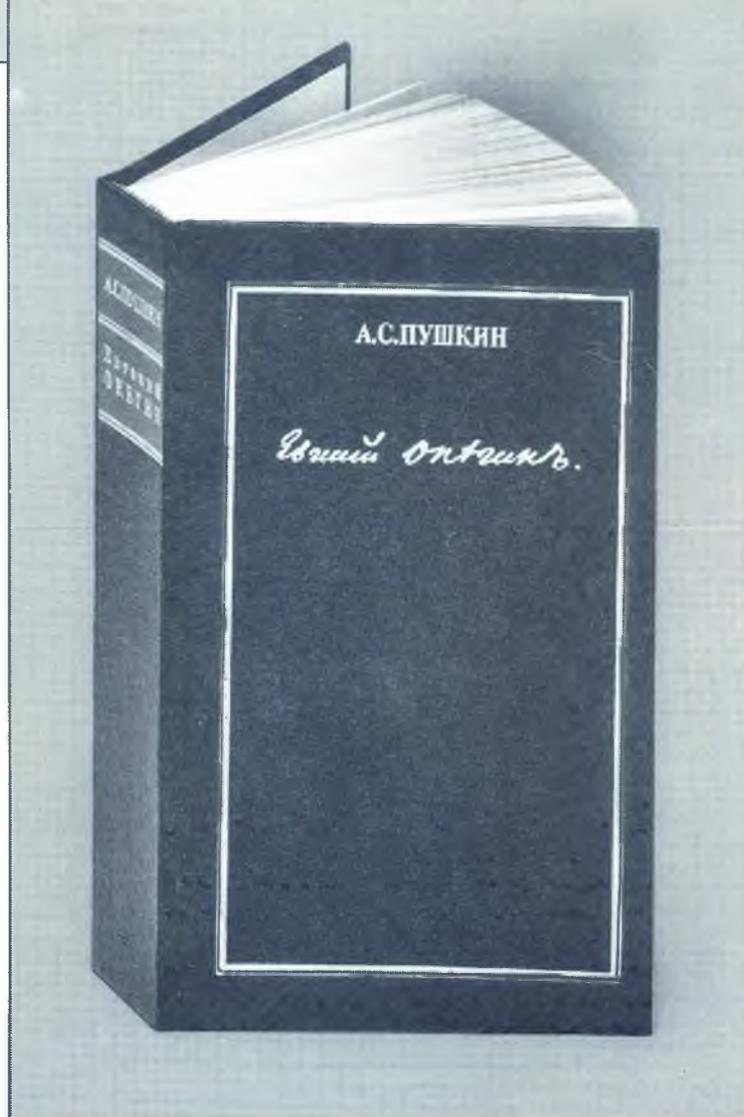
В литературно-художественном салоне "Зеленая лампа" в конце марта состоялась очередная встреча, посвященная на этот раз творчеству Сергея Юрьенена, русского прозаика, живущего в Мюнхене. Во встрече принимали участие Л. Аннинский, А. Глезер и А. Кабаков.

Второй вернисаж

Двадцать пятого марта в ЦДХ состоялся второй вернисаж галереи "Крыский вал", который проводился в связи с тем, что уже после открытия галерея получила картины и графику Николая Вечтомова, Анатолия Зверева, Валентины Кропивницкой, Льва Кропивницкого, Дмитрия Плавинского и Бориса Свешникова.

В Санкт-Петербурге

Здесь в Русском музее 31 марта открылась персональная выставка бывшего питерца, ныне живущего в Мюнхене, Игоря Захарова-Росса.



Издательство „АТРИУМ“

предлагает

вниманию коллекционеров
и любителей книжных редкостей
издание романа А.С.ПУШКИНА

„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“

Текст романа сопровождает
серия новых иллюстраций художника А.КОСТИНА;

впервые публикуемое
цветное факсимильное воспроизведение
рукописи „осьмой главы“;

фундаментальный комментарий
известного семиотика Ю.М.ЛОТМАНА.

Общий объем – 752 стр.

Тираж книги – 5000 экз.

999 экземпляров номерные

Контактный тел. 290-12-42

„КРЫМСКИЙ ВАЛ“ на Крымском валу

Восемнадцатого февраля в Москве открылась Международная русская галерея „Крымский вал“, учредителями которой стали Центральный дом художника, директор Владимир Куропатов, Центр современной русской культуры (Париж – Москва – Нью-Йорк), президент Александр Глезер и АО „Крымский вал“, генеральный директор Михаил Черепашенец.

Накануне вернисажа в помещении галереи, расположенной в ЦДХ, состоялась пресс-конференция, на которую пришло более сорока журналистов. Это, очевидно, объясняется тем, что на первой выставке галереи наряду с молодыми талантливыми художниками из Москвы (Валерий Евдокимов), Нижнего Новгорода (Александр Лавров, Сергей Сорокин, Виктор Игнатенко) и Уфы (Сергей Краснов и Дим Новицкий), были представлены и такие известные мастера как парижане Оскар Рабин, Валентина Кропивницкая, Юрий Жарких, Гарри Файф, Владимир Титов, нью-йоркцы Эрнст Неизвестный и Михаил Шемякин, санкт-петербуржец Анатолий Васильев и москвичи Владимир

Фото Бориса Залко



Немухин, Борис Свешников, Александр Харитонов, Лев Кропивницкий, Владимир Яковлев и Дмитрий Плавинский. И, видимо, именно поэтому открывал выставку вместе с учредителями галереи министр культуры России Евгений Сидоров.

Когда выйдет в свет этот номер „Русского курьера“, первая экспозиция галереи „Крымский вал“ будет подходить к концу. Но уже ее начало свидетельствует об успешном старте галереи. И дело не только в потоке любителей живописи, которые ее посещают, и многочисленных откликах на ее от-



крытие в прессе, радио и телевидении. Ведь в первые же два дня работы выставки было продано работ более чем на четыре с половиной миллиона рублей – шесть литографий Михаила Шемякина, три пастели Владимира Немухина, три рисунка Валентины Кропивницкой и две картины Виктора Игнатенко.

Остается только сказать, что следующая экспозиция галереи „Крымский вал“, которая откроется в начале апреля, называется „Санкт-Петербург в Москве“. В ней примут участие четырнадцать питерских мастеров живописи и рисунка.

Вообщем, процесс пошел, как пошутил кто-то из посетителей галереи.

Н. АНДРЕЕВА